

«Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики»

Ольги Фетисенко

За последние десятилетия интерес к творчеству Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) постепенно приобрёл массовый характер. Ещё в начале 1990-х гг. его сочинения, практически не печатавшиеся в советское время, являлись библиографической редкостью и были известны достаточно узкому кругу специалистов и интеллектуалов. Теперь же значительная их часть неоднократно переиздана. К ним регулярно обращаются философы, историки, литературоведы. Об их авторе пишут книги, статьи, диссертации. Его цитируют политики и журналисты (порою плохо понимая то, о чём он говорил). Его имя прочно вошло не только в учебники и хрестоматии, но даже в социальные сети.

Успех этот вполне естественен. К.Н. Леонтьев, как ни странно, оказался по-своему созвучен настроениям рубежа XX–XXI вв. и своим обращением от юношеского либерализма к Церкви и охранительным ценностям, и своим историческим пессимизмом, осознанием близости неминуемого конца, наступающего не вследствие той или иной грандиозной катастрофы, а путём необратимого разложения и смесительного упрощения. Современный человек, уставший от беспросветной серости «пластикового века», легко откликается на живую и сокрушительную критику демократической уравнительности, не потерявшую за 100 с лишним лет своей остроты и актуальности. Леонтьев порою кажется нам даже гораздо ближе и понятнее, чем это есть на самом деле. Впрочем, как свидетельствует опыт, подобная популярность, граничащая с профанацией, может оказаться опасной для осмысления его наследия.

К счастью, оно уже много лет глубоко и всесторонне изучается, в первую очередь сотрудами Пушкинского Дома Российской академии наук. Продолжается монументальное издание его Полного собрания сочинений, способное удовлетворить требования самого взыскательного критика. Блестяще опубликована его переписка с о. И. Фуделем и Т.И. Филипповым¹. Появление в 2012 г. монографии Ольги Леонидовны Фетисенко² выводит эту большую и сложную работу на новый уровень.

Отличительной особенностью данного фундаментального труда, помимо колоссального объёма изученных источников, скрупулёзности их анализа и прекрасного литературного стиля (достойного памяти К.Н. Леонтьева), явля-

¹ *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем в двенадцати томах / Подгот. текста и коммент.: В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко. Т. 1–8. СПб., 2000–2009; «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Изд. подгот.: О.Л. Фетисенко // *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений... Приложение. Кн. 1. СПб., 2012; Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / Сост.: О.Л. Фетисенко. СПб., 2012; См. также рец.: *Котов А.Э.* Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) // *Российская история.* 2012. № 3. С. 208–211.

² *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2012. 784 с., ил.

ется редкий как в историографии, так и в литературоведении диалогизм. Леонтьев представлен в книге не как «объект исследования» (таковым являются его тексты) и не как оракул всевозможных истин, а прежде всего как «собеседник» – носитель собственного слова, раскрывающегося не в монологических авторских «выводах» и обобщениях, а в со-бытии с высказываниями и судьбами его современников, и доносящегося до читателя. Сама исследовательница, тщательно продумавшая и отшлифовавшая эту «беседу», подчёркнуто сдержанна и корректна в своих замечаниях и оценках. Хотя, конечно же, ей не удаётся скрыть увлечённости и неравнодушия к идеям и людям, о которых она пишет.

В обсуждении книги приняли участие доктор исторических наук А.В. Репников (Российский государственный архив социально-политической истории), кандидаты исторических наук Д.А. Бадалян (Российская национальная библиотека), А.Э. Котов (Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова), Д.И. Стогов (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет), С.В. Хатунцев (Воронежский государственный университет), А.С. Хорошева (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и С.В. Чесноков (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), кандидаты философских наук Д.В. Семикопов (Нижегородская духовная семинария) и А.А. Тесля (Тихоокеанский государственный университет), А.Ф. Чернавский (Институт философии Национальной Академии наук Республики Беларусь) и Е.В. Мамонова (журнал «Российская история»).

Даниил Семикопов: Смелость его мысли пугала всех

Константин Николаевич Леонтьев – одно из самых известных имён в истории русской религиозной мысли. В то же время его считают мыслителем не для всех, и не случайно ещё Розанов говорил, что у Леонтьева найдётся 2–3, от силы 20–30 поклонников, но он никогда не приобретёт широкой популярности. И только на первый взгляд кажется, будто современность опровергает слова Василия Васильевича.

За последние 20 лет вышло несколько монографий, посвящённых интеллектуальному наследию К.Н. Леонтьева, его творчество рассматривалось в десятках диссертаций. В Санкт-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН издаётся полное собрание его сочинений. Заместитель главного редактора этого издания – Ольга Леонидовна Фетисенко – выпустила фундаментальный труд, ставший заметной вехой в изучении биографии мыслителя, мечтавшего о новой восточнорусской культуре, основанной на «семи столпах». Именно этот «гептастилизм» и становится стержнем монографии. Автор детально анализирует данное учение в первой части своей книги, где идёт речь о публицистике, культурологии и эстетике Леонтьева. При этом в приложение к ней вводятся в научный оборот важнейшие документы, раскрывающие представления Леонтьева о «семи основаниях». Кстати, о том, что «гептастилизм» являлся основой историософских представлений русского мыслителя, его идеалом, уже писал нижегородский исследователь Р.А. Гоголев³, но он, за неимением оригинальных текстов, был вынужден рассуждать о

³ См.: Гоголев Р.А. «Ангельский доктор» русской истории. Философия истории К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М., 2007.

сущности «гептастилизма» гадательно, тогда как О.Л. Фетисенко при помощи московского исследователя Г.Б. Кремнева выявила и изучила неизвестные дотолые записи Леонтьева, где прямо указывались эти семь столпов, «на которых должно утверждаться здание Славяно-Восточной новой культуры» (с. 133).

Леонтьев явно верил в осуществимость своего идеала, считая, что описанная им цивилизация вполне возможна – пусть всё сбудется не так, как видится взору, но и тогда будет видна явная связь между воплотившимся и исходным замыслом (как черты реально существовавших динозавров заметны в изображениях мифологических драконов). В данном случае Леонтьев, несмотря на свою православную «фанатичность», мыслит вполне в духе Локка, по мнению которого «в уме не может быть ничего, что бы не было дано в чувствах», и более того, добавляет, что интеллект не содержит ничего, чего бы уже не содержалось в явлениях природы. Концепция «дракона» Леонтьева, дотолее неизвестная, по-новому раскрывает его историософскую методологию (с. 123–134).

Как показано в монографии, Леонтьев не просто оплакивал развалины, подобно пророку Иеремии, но, как пророк Иезекииль, мечтал о храме новой цивилизации. Не сбылось... И в этом трагичность Леонтьева, практически все отрицательные прогнозы которого оправдались. Он что-то уловил, услышал в музыке истории, что позволяло ему с большой точностью предвидеть будущие катаклизмы: русскую революцию, превращение социализма в новый феодализм, изобретение оружия массового поражения, китайскую угрозу – всё это он увидел задолго до всех, и это сделало его одиноким тогда, в век безудержного оптимизма, и популярным сейчас.

В чём суть леонтьевского «гептастилизма»? В иерархическом государственном устройстве, предполагающем организацию Великого восточного союза во главе с Россией, но со столицей в освобождённом Константинополе. В независимой и сильной православной Церкви во главе с константинопольским патриархом. В строго «принудительной» организации собственности и труда». В отказе от поклонения научному прогрессу. В создании новой многонациональной аристократии. В развитии мистических религиозных движений и в эстетическом аскетизме, в предпочтении красоты удобству. Конечно, ни один из перечисленных столпов не был воздвигнут, а уже имевшийся столп русского самодержавия, в котором Леонтьев видел «*conditio sine qua non*», «ось всего движения», «срединный столп», оказался в результате разрушен. Но была ли вообще альтернатива либеральным реформам? Был ли реализуем консервативный проект в России конца XIX в.? И не было ли поражение дореволюционного консерватизма закономерным? Размышление над этими вопросами естественно подводит читателя к тематике второй и третьей частей книги, в которых прослеживается общение Леонтьева с его собеседниками и учениками.

Вторая часть начинается с весьма интересной главки «О том, чего нет в этом разделе». В ней намечаются возможные направления будущих исследований творчества Леонтьева. Как ни удивительно, остаётся по-прежнему актуальной тема «Леонтьев и славянофилы». «Тема эта, – справедливо замечает О.Л. Фетисенко, – с одной стороны, уже далеко не нова, с другой же – надо признать, что даже биографическая канва жизненно-творческих пересечений мыслителя со славянофилами прочерчена сейчас не очень отчётливо» (с. 150). Проблема, видимо, и в том, что в отечественной науке вообще мало изучено творчество поздних славянофилов. Из современных Леонтьеву славянофилов исследовательница называет А.Ф. Гильдферинга, протоиерея А. Иванцова-Платонова, А.А. Киреева, А.И. Кошелёва, О.Ф. Миллера, кн. В.А. Черкасского

и др. История контактов Леонтьева с московским либералами (в частности, с сотрудниками редакции «Русской мысли») в данный момент и вовсе представляется «белым пятном» (с. 150).

Не пытаясь охватить все аспекты темы «Леонтьев и славянофилы», О.Л. Фетисенко подробно анализирует его взаимоотношения и расхождения с И.С. Аксаковым и Н.П. Гиляровым-Платоновым. При этом автор убедительно доказывает, что именно верность Леонтьева восточнохристианской ортодоксии (византизму) претила либерально-националистическим устремлениям поздних славянофилов: для Аксакова и Гилярова-Платонова он оказался «слишком православен».

Четвёртая глава второй части монографии рассказывает об одном из немногих единомышленников Леонтьева – Т.И. Филиппове. Прежде всего их сближала солидарность в поддержке канонических прав константинопольского патриархата против притязаний национально-либерального болгарского духовенства⁴. Примечательно, что разногласия между ними по-настоящему проявлялись лишь в оценке ортодоксальности Достоевского.

Идейное противостояние К.Н. Леонтьева и Ф.М. Достоевского неизменно привлекает внимание исследователей их творчества. Достоевский – хилиаст и христианский гуманист, склонный к сентиментализму и утопичности, противопоставляется Леонтьеву, олицетворяющему дух византийского аскетизма и ортодоксального «мракобесия», что вполне укладывается в любимый «околоправославной» интеллигенцией стереотип о двух православиях – преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, старца Зосимы и отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых». Леонтьев же пытался доказать, что никакого особого, гуманного православия Зосимы, противостоящего изуверству Ферапонта, нет. Что это всё на самом деле есть попытки выработать некое полупротестантское либеральное неоправославие, в то время как есть только одно православие – вера византийских отцов. Не удивительно, что Леонтьев своей брошюрой «Новые христиане» некогда буквально взорвал благостность сентиментального интеллигентского православия. Приведённые же в книге О.Л. Фетисенко новые материалы (в частности, маргиналии и подчёркивания в леонтьевском экземпляре «Душеполезных поучений» аввы Дорофея) позволяют лучше понять позицию Леонтьева. По его мнению, Достоевский действительно открыл современникам православие, но в собственной «облегчённой», гуманистически упрощённой интерпретации. При этом Леонтьев допускал, что христианство Достоевского может быть полезно в апологетических целях, как первый шаг, в отличие от христианства Толстого, которого он считал опасным еретиком. Освещая в шестой главе тему «Леонтьев и Толстой» (не менее интересную и важную, чем тема «Леонтьев и Достоевский»), автор монографии указывает, что в Леонтьеве совмещалось восхищение литературным гением писателя и полное неприятие его религиозно-философских взглядов.

В седьмой главе читатель находит галерею портретов консервативных политиков: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, кн. В.П. Мещерский. Примечательно, что при всей идейной близости Леонтьев испытывал неприязнь и к Каткову, и к Победоносцеву. Те тоже не питали к Константину Николаевичу нежных чувств. Смелость его мыслей пугала всех, и во многом из-за этого Леонтьев, так и не получив достойной трибуны, не был услышан русским

⁴Подробнее см.: Пророки византизма...

обществом именно тогда, когда более всего мог стать ему полезен. Видимо, его консерватизм являлся слишком уж творческим и оригинальным для охранительного лагеря, раздробленного и бессильного перед надвигающейся катастрофой.

Большое внимание в книге уделено литературным связям Леонтьева, из которых наиболее важным представляется знакомство с А. Фетом, который привлекал аристократа Леонтьева и как поэт, и как бывший военный, и как переводчик пессимистичного Шопенгауэра и эстета-романтика Гёте. Конечно, Константин Николаевич не идеализировал Фета и иногда его жёстко критиковал, но в нём ему встретился такой же эстет, как и он сам⁵.

Отдельная глава посвящена драматической судьбе Николая Дурново – талантливого публициста и защитника Церкви, ставшего из-за своей принципиальной позиции личным врагом Победоносцева. Его призывы «стоять за права общины, за право избирать священников, за окружные съезды и т.д., если мы действительно желаем поднять православие», и заявления о том, что «священники у нас не более как чиновники в рясе», остро звучат и сейчас (с. 395). Парадоксально, насколько часто в «круге Леонтьева» звучали требования самостоятельности Церкви и критика синодальных порядков. Одна из лучших частей монографии характеризует личность консервативного мыслителя С. Шарапова, фигура которого словно слеплена из литературных образов, что очень тонко передано О.Л. Фетисенко. Особенно он чем-то напоминает Шатова из «Бесов» Достоевского. Видимо, великий русский писатель был не так уж и фантастичен, а его герои – не плод воображения, но симптом общества, в котором апологеты Церкви по 15 лет не переступали её порога, делая громкие заявления: «Кто в Россию не верит, тот и в Бога не верит» (с. 437). Такого рода славянофильство было чуждо Леонтьеву, стоявшему выше «национальной религии». Ещё более ему был чужд панславизм Шарапова, близкого к националистическим кругам.

Заключительная глава второй части монографии рассказывает о собеседниках и корреспондентах последних лет жизни К.Н. Леонтьева – Л.А. Тихомирове, В.В. Розанове, Ю.Н. Говорухе-Отроке. Впрочем, последний из них был для Леонтьева скорее не собеседником, а учеником, иногда, как показывает О.Л. Фетисенко, цитировавшим своего учителя без кавычек. Этот рано умерший консервативный публицист не имел особого успеха у современников, да и сейчас не привлекает к себе большого внимания, хотя его высоко ценили А.А. Фет, Н.Н. Страхов, А.А. Киреев, П.Е. Астафьев, В.В. Розанов.

Но самой неожиданной и драматичной (насколько это понятие может быть приложимо к научной монографии) является третья часть книги, рассказывающая об учениках Леонтьева, о его тайном «иезуитском ордене» «гептастилистов». О.Л. Фетисенко разрушает устоявшееся мнение об одиночестве Леонтьева. Судя по собранным в книге данным, у него были последователи и верные ученики, образовавшие вокруг него своего рода интеллектуальный орден, который должен был содействовать реализации «гептастилистской» мечты. Но отчего же об этом кружке мы узнаём только сейчас? Почему никто из учеников Леонтьева не смог осуществить даже малую толику из того, что намечал их учитель?

⁵ См. также: Письма К.Н. Леонтьева к А.А. Фету (1883–1891) / Публ. О.Л. Фетисенко // А.А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 1. М.; СПб., 2010. С. 236–290.

О.Л. Фетисенко раскрывает трагедию поколения «русских мальчиков» конца XIX – начала XX в., перепутавших рассвет с закатом. Среди них – подававший большие надежды публицист и богослов И. Кристи, сторонник теории «догматического развития», один из любимых учеников Леонтьева, который вполне мог стать продолжателем его дела, заняв достойное место среди религиозных философов «серебряного века», если бы не смерть в 1894 г. от прогрессирующей болезни, которая уничтожила его интеллект. Не менее трагично сложилась и судьба А. Александрова, одного из самых близких к Леонтьеву людей. Добрый и великодушный, он не отличался глубоким умом и эстетическим вкусом и странно смотрелся в «леонтьевском кругу», хотя был лично привязан к Леонтьеву больше всех. Яркие портреты самого Александрова, его жены Евдокии Тарасовны, описание страшной и медленной смерти Анатолия Александровича от тяжёлого инсульта, растянувшейся на полтора года, позволяют понять всю сложность испытаний, выпавших на долю этого человека на его пути от русского лицеиста до советского мещанина.

Не забывает О.Л. Фетисенко и о тех учениках Леонтьева, которые не оставили значительного следа в русской культуре. «Все почти близкие ко мне прежде юноши отвыкли от меня и оставили меня, – писал Леонтьев о. Иосифу Фуделю, – Денисов, Уманов, Замараев, Волжин, Озеров, братья Нелидовы и т.д. Остаются верными только: Кристи, Александр[ов] и Вы» (с. 578). Тем не менее истории «неудавшихся» учеников отнюдь не лишены интереса для изучающих творчество Леонтьева. В общении с ними он выступал как проповедник и миссионер, стремившийся к тому, чтобы эти «совершенно светские молодые люди» пришли к Церкви. Леонтьев был уверен, что будущее России как раз за людьми светской культуры и воспитания, решившими посвятить себя служению православию. В синодальное духовенство Леонтьев не верил. Однако его надежды оправдал только о. Иосиф Фудель, которому посвящена в монографии отдельная глава. Леонтьев вообще очень любил «православных немцев». Его ближайшим другом был оптинский иеромонах Климент (Зедергольм), блестящую биографию которого Константин Николаевич написал по благословению оптинских старцев. Утешением же последних лет его жизни стал о. Иосиф⁶, оказавшийся самым благодарным учеником: именно он подготовил и выпустил в свет первое собрание сочинений Леонтьева (издание не удалось довести до конца в связи с началом мировой войны). О. Иосиф не стал выдающимся мыслителем и публицистом, но оставался живым носителем «леонтьевского, не-розового» православия, верным памяти своего учителя. В последних главах исследования очерчен круг общения Леонтьева в Оптиной пустыни и Троице-Сергиевой лавре, где он провёл два последних месяца своей жизни.

В целом монография О.Л. Фетисенко интересна тем, что в ней не только реконструированы идеалы и замыслы Леонтьева, но и показана сложность их восприятия даже в самом близком кругу его собеседников и учеников. Вместе с тем потенциал «леонтьевской традиции» до сих пор не исчерпан, хотя бы в силу того, что огромное наследие К.Н. Леонтьева пока до конца ещё не изучено, и О.Л. Фетисенко многое делает на данном пути, указывая возможные векторы дальнейших исследований леонтьевского космоса.

⁶ Подробнее об их взаимоотношениях см.: «Преемство от отцов»...

Александр Репников: «Личность... грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра»

Одолеть почти 800 большеформатных страниц монографии О.Л. Фетисенко — дело не простое⁷. К тому же, для того, чтобы прочитать и осмыслить их, нужно время, которое отбирает у людей науки добывание средств к существованию⁸. В текст книги втягиваешься постепенно. Первая часть захватывает описанием архивных находок, сделанных автором в ходе подготовки продолжающегося издания полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева. Вторая и третья части увлекают сложными судьбами людей, которые в той или иной степени в разные периоды своей жизни были связаны с Леонтьевым. Живо и талантливо представлены в книге портреты его современников и собеседников. И тех, кто выйдя на широкую жизненную дорогу, причислял себя к его ученикам, и тех, кто «изжив» с годами леонтьевское влияние, всё равно продолжал дискутировать с ним в своих работах. Риску предположить, что вторая и третья части более интересны для только приступающего «к Леонтьеву» читателя, чем тщательные сравнения разночтений, сделанные в первой главе (хотя и у него вызовут интерес рисунки с изображением «реального крокодила современности», «гипотетического дракона» и «реального и современного аллигатора»)⁹. А для текстологов и архивистов ценна будет и первая глава монографии¹⁰. Рукописные тексты Леонтьева отличаются специфическим, довольно неразборчивым почерком, и чтобы это понять и оценить труд публикатора, не обязательно даже идти в архивы — достаточно посмотреть воспроизведённые в книге фрагменты некоторых записей. Расшифровка и комментирование рукописей мыслителя — большая и сложная работа¹¹, которой автор книги занимается уже много лет.

Увлечённость Фетисенко Леонтьевым, его судьбой и мировоззрением несомненна. Об этом свидетельствует и её сравнение собственной работы с раскопками «недостроенного здания, возможно, даже храма» (с. 5), и сетования на тех, кто слишком акцентирует внимание на «эстетизме и эротизме» биографии и текстов Константина Николаевича (с. 16), и определение помощи в работе над темой как «промыслительно-своевременной» (с. 17), а

⁷ Первые отклики см.: *Бессчетнова Е.В.* Рецензия: Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики... // Вопросы философии. 2013. № 2; *Титов В.* Крыло дракона // Литературная газета. 2013. № 15; *Котов А.Э.* Эстетический академизм (URL.: gifter.ru/archive/4815).

⁸ Зато они в полной мере смогут оценить постоянные сетования Леонтьева на безденежье, эпизод с продажей шубы (с. 569, 657) и т.п.

⁹ Иллюстративный ряд книги заслуживает особого упоминания и высокой оценки. Помимо фотографий, он включает копии писем, рисунков, титульных листов с дарственными надписями, страниц рукописей, визитных карточек и т.д.

¹⁰ Монография О.Л. Фетисенко, как и её многочисленные архивные публикации, несёт на себе отпечаток работы профессионального филолога. Историк, философ или социолог, вероятно, несколько иначе написали бы книгу по данной теме и на данном материале, что, разумеется, ни в какой мере не уменьшает достоинств авторского подхода.

¹¹ В полной мере это относится и к рукописям Л.А. Тихомирова. Упомяну об этом в связи с повторенным О.Л. Фетисенко замечанием о неверном прочтении фамилии офтальмолога С.С. Головина (с. 642). Уточнение Фетисенко ранее опубликованного ею совместно с С.М. Сергеевым текста письма Л.А. Тихомирова к К.Н. Леонтьеву (с. 371) ещё раз подтверждает неизбежность ошибок в расшифровке при работе с большим массивом рукописей. Как, впрочем, и опечаточных ошибок в монографиях (к примеру, в указателе имён на фамилию А.В. Репников (с. 770) выпала сноска на с. 456).

архивной находки, как «чуда» (с. 17)¹². Те, кто много лет самозабвенно занимается исследованиями в какой-либо области, всегда может поведать про чудесные находки документов в архивах, дружескую помощь коллег и острые дискуссии со специалистами, работающими в том же направлении. Да и кто ещё в наше время, кроме увлечённых людей, возьмётся за столь трудоёмкое и малооплачиваемое дело, как подготовка полного собрания сочинений русского консервативного мыслителя! Хотя, как отмечается в первом же абзаце монографии, в России «новой государственной идеологией стала “консервативная модернизация”» (с. 5), какой-либо поддержки властными структурами соответствующих не политических, а научных проектов не наблюдается. Конференции, посвящённые К.Н. Леонтьеву, Н.Я. Данилевскому, В.В. Розанову и прочим «пламенным консерваторам», носят весьма скромный характер, а их организаторы не всегда даже могут оплатить проезд приглашённым и издать материалы достойным тиражом. Впрочем и тираж томов полного собрания сочинений Леонтьева насчитывал сперва 3 тыс.¹³, затем – 2 тыс.¹⁴, потом – 1 500 экземпляров¹⁵, а в дальнейшем и вовсе перестал указываться¹⁶. Между тем эти тома пользуются спросом, а некоторые из них уже стали библиографической редкостью. Вызвала научный резонанс и подготовленная О.Л. Фетисенко к изданию переписка Леонтьева и Т.И. Филиппова, вышедшая тиражом лишь 800 экземпляров¹⁷.

Но не будем предаваться унынию из-за маленьких тиражей и больших цен! Константин Николаевич прочно занял место в энциклопедиях и учебниках; анализу его взглядов посвящены диссертации, монографии и конференции, а в Оптиной пустыни (с. 727) и Стамбуле установлены памятные доски. А ведь ещё в 1999 г. отягощённый учёной степенью автор всерьёз утверждал, что Леонтьев не является философом, поскольку «Энциклопедический философский словарь» 1983 г. «поминает» его только как «русского писателя, публициста и литкритика». При этом доказывалось, что его необоснованное причисление к философам служит попыткам реакции «затмить» всё прогрессивное в истории общественной мысли чем-нибудь второстепенным или второсортным¹⁸. Что же, вырубив большой лес, можно говорить о «величии» кустов. Изъяв из обращения огромный пласт русской консервативной мысли, куда входит и наследие Леонтьева, можно говорить о значимости второстепенных, но революционно настроенных критиков. Когда работы Леонтьева стали возвращаться к читателю (в том числе и при участии О.Л. Фетисенко), возникло иное искушение – увидеть в его прогнозах пророчества о XX и даже XXI в. и сотворить себе кумира. Профессионализм и научная взвешенность помогли автору монографии избежать всевозможных «ловушек», хотя эмоциональность порой прорывается

¹² В книге действительно много находок. Это, например, очищенная от наслоившихся ошибок и мифов история семьи матери Леонтьева (с. 13–14), свидетельство о знакомстве Леонтьева с сочинениями Ф. Ницше (с. 686), множество интереснейших архивных документов, впервые введенных О.Л. Фетисенко в научный оборот, и, наконец, обильные цитаты из публикаций современной Леонтьеву периодической печати.

¹³ *Леонтьев К.Н.* Полное собрание сочинений и писем... Т. 1. СПб., 2000.

¹⁴ Там же. Т. 2. СПб., 2000.

¹⁵ Там же. Т. 6. Кн. 2. СПб., 2006.

¹⁶ Там же. Т. 7. Кн. 1. СПб., 2005.

¹⁷ Пророки Византизма... См. рецензии на эту книгу: *Репников А.В.* Одиночество консерваторов / Культура. 2012. № 19; *Котов А.Э.* Пророки византизма...

¹⁸ *Еремин А.М.* Леонтьев – никакой не философ // Экономическая газета. 1999. № 47.

в оценке трудов предшественников (С.В. Хатунцева, К.А. Жукова, Р.А. Гоголева, М.А. Тюренкова¹⁹, Ю. Булычёва, К.М. Долгова²⁰, С.Г. Бочарова, О.Г. Панаэтова и др.), или же в острой полемике с ними, не мешающей, впрочем, общей объективистской направленности труда.

Реконструкция «гептастилизма» Леонтьева не так проста, ведь самая известная его работа «Византизм и славянство» была написана в самом начале пути, а обобщающего труда о «семи столпах» Леонтьев так и не создал. В текстах его работ и писем, в воспоминаниях о беседах с ним автору приходится выделять отдельные элементы интеллектуальной мозаики, чтобы сложить из них целую картину. Отметив, что «у Леонтьева не было серьёзной научной подготовки в области истории и философии, но были интуиция художника и отличная память» (с. 45), исследовательница выделяет семь «столпов»: религиозные, политические, юридические, философские, бытовые, художественные и экономические идеи, которые сводятся к принципам «теократии, сословности, монархизма, аристократизма и порабощения» (с. 85–89).

Константин Николаевич ни в статьях, ни в личных письмах «толерантным» не был. Он писал то, что думал, отличался категоричностью оценок. С одной стороны, это вызывало интерес (восторг, возмущение²¹, ужас), с другой – не давало ему возможности найти постоянный печатный орган для выражения своего мнения. Характерна история его сотрудничества с газетой «Варшавский дневник», в которой Леонтьев опубликовал интереснейшие по содержанию, хотя и небольшие по объёму статьи. К.П. Победоносцев, проявивший интерес к публикациям Леонтьева в «Варшавском дневнике», одобрительно писал о них наследнику цесаревичу вел. кн. Александру Александровичу. В ответной записке будущий император отметил, что с удовольствием прочёл рекомендованную ему статью с критикой суда присяжных. Леонтьев знал, что его читают в высших сферах, но «Варшавскому дневнику» это не помогало²². На словах высокопоставленные консерваторы восхищались направлением газеты, а на деле денег не давали, что вызывало у Леонтьева раздражение против петербургских единомышленников. По свидетельству современников, он очень тяжело пере-

¹⁹ Вопреки утверждению автора монографии (с. 29) статья М.А. Тюренкова «Леонтьев и постманежная Россия» появилась на сайте «Русский журнал» не в 2010, а 26 января 2011 г., что было обозначено и во вступлении: «От редакции. 25 января 2011 года исполняется 180 лет со дня рождения русского философа Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891). Своими соображениями о значимости философа для сегодняшнего дня с “Русским журналом” поделился Михаил Тюренков» (URL.: <http://www.russ.ru/pole/Leont-ev-i-postmanezhnaya-Rossiya>).

²⁰ О.Л. Фетисенко отмечает, что книга К.М. Долгова о Леонтьеве содержит «целый ряд грубых ошибок» (с. 12). Второе её издание, действительно, было справедливо подвергнуто критике (*Козырев А. Непокорённый Леонтьев. Рецензия: Долгов К.М. Восхождение на Афон. Жизнь и мирозерцание Константина Леонтьева. М., 1997 // Философская газета. 2001. № 2. С. 15*). Однако затем вышло третье переработанное и дополненное издание (*Долгов К.М. Восхождение на Афон: жизнь и мирозерцание Константина Леонтьева. М., 2008*), поэтому следовало бы подкрепить критические замечания конкретными примерами.

²¹ Леонтьев сам охотно поддерживал репутацию опасного «парадоксалиста» (с. 173). В этом, как и в шуточной нумерологии, проявлялось присущее ему своеобразное чувство юмора (с. 182). Замечательные примеры иронии и сарказма неоднократно встречаются и в его переписке (*Леонтьев К.Н. Избранные письма / Публ.: Д. Соловьёв. СПб., 1993. С. 57–58, 296*).

²² *Котов А.Э. «Варшавский дневник» в конце 1870-х – 1880-е гг. // Российская история. 2013. № 1. С. 77–90.*

живал эту неудачу. Характерны и сетования Леонтьева на М.Н. Каткова, причём не только из-за проблем с публикациями, но также из-за денежных расчётов. Вообще же проблема долгов для Леонтьева была не самой последней, и тут ему неоднократно помогал Т.И. Филиппов (который, по собственному признанию, смог «спасти его от нищеты»)²³.

Большую часть монографии занимает анализ общения Леонтьева с его «собеседниками и совопросниками». Это очень разные люди. Тут и такие представители «старой гвардии» 1840–1860-х гг., как И.С. Аксаков, чьи сложные отношения с Леонтьевым превосходно описаны в отдельной главе (с. 154–185), и классики мировой литературы Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, каждый из которых, как это ни обидно признать поклонникам Константина Николаевича, несравнимо выше его по своему уровню, а также М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, кн. В.П. Мещерский, Б.М. Маркевич, А.А. Фет, П.Е. Астафьев, В.С. Соловьёв, Н.Н. Дурново (информацию о нём автор собирал по крупичкам), В.В. Крестовский и многие другие. Переписка и личные контакты Леонтьева с друзьями, единомышленниками и оппонентами интересны ещё и тем, что в них, как правило, затрагивались значимые для него общественно-политические вопросы: судьба славянства и России, христианство и социализм, творчество Вл. Соловьёва и Ф.М. Достоевского²⁴. Он словно проверял на прочность и оттачивал идеи «гептастизма», вновь и вновь повторяя их уже перед новыми, иногда годящимися ему в сыновья, собеседниками²⁵.

Особое внимание Фетисенко уделяет молодым ученикам Леонтьева²⁶. Он явно испытывал потребность в продолжателях своего дела и не без гордости писал М.В. Леонтьевой: «Правду ты говоришь, что бы я мог сделать из молодёжи, если бы она меня окружала!» (с. 472). Чувствуя в себе педагогиче-

²³ Интересен, в частности, эпизод с отсылкой Леонтьевым Победоносцеву своей книги, посвящённой Филиппову, что могло вызвать недовольство обер-прокурора (с. 319–320). Этот случай ещё раз показывает, что при всём реальном и приписываемом ему высокомерию (книга историка Д.М. Володихина о Леонтьеве, вышедшая в 2000 г., даже называется «Высокомерный странник»), Константин Николаевич всегда высоко ценил дружбу и человеческое участие, и не собирался жертвовать ими во имя карьерных, материальных и прочих выгод. Леонтьеву, помимо высокомерия, приписывали что угодно, от «Алкивиадаства», о чём автор монографии вскользь упоминает (с. 462, 467, 483 и др.), до сатанизма, «обнаруженного» в Леонтьеве Д.С. Мережковским («Л[еонтьев] – вот настоящий сатанист... В сущности вся его эстетика – сатанизм, садизм» (с. 462)). Но вот карьеризма, предательства, расчётливости и цинизма в его поступках не видели (да и не могли увидеть) даже самые завзятые недоброжелатели и пристрастные критики.

²⁴ Фетисенко верно определила спор Леонтьева с Достоевским как «нескончаемый». Прими- рить их было невозможно: Достоевский писал о «нечестивых» идеях Леонтьева, а последний не обходился без упоминания «глупого бреда в речи о Пушкине» (с. 261). Характерно, что с великими современниками Леонтьева развели не литературно-эстетические, а религиозные воп- росы. В сущности, практически все они – писатели, философы, публицисты – были в вопросах веры *ищущими*, и книга Фетисенко показывает эти поиски. Блуждает «около церковных стен» В.В. Розанов, ищет свой путь Вл. Соловьёв, борется со страстями С.Ф. Шарапов. Все они – от великого Ф.М. Достоевского до раскаявшегося народовольца Л.А. Тихомирова тянутся к вере, спорят о ней, но только Леонтьев дойдёт в своём пути до логического конца, приняв монашеский постриг (с. 724). И это при том, что сам Леонтьев, любя Священное Писание и святых отцов, просил Филиппова не быть строгим к его цитатам из них, ибо «едва ли я хоть одну помню с полной точностью» (с. 273).

²⁵ «Всякий великий человек пишет и действует ради утверждения двух–трёх идей», не без основания утверждал французский писатель Анри де Монтерлан.

²⁶ При этом упоминается и о наличии у него ряда «учениц», хотя «от всех поименованных девиц и дам для леонтьевской проповеди мало вышло проку» (с. 483).

скую (проповедническую?²⁷) склонность (с. 475, 481), Леонтьев бескорыстно тянулся к тем, кого мог бы зачислить в так и не созданный им «иезуитский орден». Он переписывался и встречался с Л.А. Тихомировым, обменивался письмами с В.В. Розановым, хлопотал, представляя Филиппову в письмах А.А. Александрова и Г.И. Замаараева, которого рекомендовал на службу. Ему хотелось, чтобы ученики пошли дальше учителя, мечталось, как бы Ю.С. Карцов (о нём в книге, к сожалению, нет отдельной главы) «мог... расстрелять суммарно картечью 6 000 прогрессистов каких-нибудь во славу Божию и всё с тем томным и не смеющимся никогда взглядом тёмных очей, который нам так известен». Леонтьев при любой возможности «старался внушить *юноше* свои понятия о религии, морали, культуре, красоте, призвании России, хамстве и разложении Западной Европы, ненадёжности славян, необходимости дисциплины и крутого режима во внутренней политике, близости конца мира и т.д. ... Это был прозелитизм чистейшей воды в благородном смысле слова» (с. 478). Не случайно в глазах Александра Константи́н Николаевич был «чародей», «колдун», «старый могучий орёл».

Доходило и до бесед о самом личном. Например, Тихомиров, не раз слушавший его воспоминания, считал, что там, где Леонтьева «соблазняло эстетическое сладостенство, у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Фенечкой, о которой он многим рассказывал»: «Леонтьев по специальности был врачом... В одном глухом угле хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Фенечка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но, на беду, у него зашевелилась эстетическая чувствительность, и он стал соблазнять Фенечку: “Эх, Фенечка, Вы мне всё предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно” (то есть её саму). Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему... Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Фенечка умоляла взять её с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался себя навсегда связывать... Я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования порядочности. Он с этим ничуть не согласился. “Ведь я тогда не верил в Бога, – возразил он. – Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно. Почему я должен был лишиться себя удовольствия? Да ведь и Фенечке было приятно, а муж ничего не знал”. Таким образом, по его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон... Если же Бога нет – можно делать что угодно... И грехов он совершал очень достаточно. Я не допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: “Бывало и похуже”. Но он сам говорил об этом, как будто испытывая потребность исповеди и самообличения»²⁸. Темперамент и жизненный опыт у Тихомирова был иной, чем у Леон-

²⁷ «После Афона, – по словам Фетисенко, – жизнь Леонтьева – это постоянная “проповедь”, и устная... и письменная – в статьях, очерках и романах» (с. 481). Он жаждал разговоров «до положения риз» (с. 489), хотел передать свои мысли, надежды, сомнения, «заразить» ими людей окружающих.

²⁸ Тихомиров Л.А. Тени прошлого. М., 2000. С. 635–636. Подробнее о взаимоотношениях Леонтьева и Тихомирова см.: Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011. С. 237–250.

тьева, и ему было явно неудобно слушать рассказы Константина Николаевича о романтических приключениях в молодые годы.

Леонтьев увлекал. Его слушали... и шли своим путём. Карцов не принял радикального леонтьевского консерватизма. Розанов, обещавший приехать в гости, так и не свиделся с Леонтьевым. Александров, посвящавший Константину Николаевичу восторженные стихи, в итоге оказался слабым публицистом и редактором. Леонтьев давал свои идеи и мысли «на вырост». Кто-то эти идеи воспринимал как догму, кто-то, подобно Тихомирову и Розанову, начинал со временем критично осмыслять наследие, да и саму личность учителя. Так, Тихомиров писал О.А. Новиковой 21 сентября 1891 г.: «У меня идёт переписка с Леонтьевым. Он меня *очень* привлекает. Это личность совсем иная: грешная, ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра. Он очень умен. Я бы очень желал, чтобы он прожил ещё десяток лет. Может быть, он сделается очень нужным, необходимым человеком. Я думаю, что *Вам* трудно понять его. У Вас натура *существенно* здоровая, Вам, думаю, сравнительно мало приходится бороться с дурными стремлениями. А он из тех, у которых ангел и чорт вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у него этот ангел не изгнан, не уступает. Он меня глубоко привлекает двойным чувством уважения и жалости. Сверх того он глубоко *сведущий православный*» (с. 450).

Интересен созданный О.Л. Фетисенко портрет С.Ф. Шарапова, хотя порой автор монографии, увлекаясь, уходит в детальное описание его конфликтов с литературным миром и путанной личной жизни, справедливо признавая, что «мы слишком углубились в семейную историю Шарапова» (с. 420–422). Стать учеником Леонтьева Шарапов не смог. Был излишне самонадеян и одновременно неуверен в себе. К тому же после смерти И.С. Аксакова, находясь в «пророчесственном» состоянии духа (с. 411), Шарапов всерьёз поверил, что стал чуть ли не единственным наследником великого славянофила. Чего стоит одна только аллюзия, которая «фактически выводит к сравнению Аксакова со Спасителем, а Шарапова – с апостолом» (с. 411). Но и для Шарапова Леонтьев сыграл положительную роль, вернув его в лоно Церкви и подтолкнув к исповеди и причастию после 15-летнего перерыва (с. 419). Крупным публицистом и писателем Шарапов так и не стал. Его издания закрывались, а современники зло подшучивали над ним. Например, В.В. Розанов нарисовал поверх письма Шарапова, в котором тот пытался его урезонить, пять ползущих клопов, охарактеризовав его газету «Русский труд», как один из петербургских «клоповников литераторов» (с. 432). После смерти Шарапова надолго забыли и только в последнее десятилетие его работы стали переиздаваться в России²⁹.

Дальше всех из «молодых» учеников пошел Л.А. Тихомиров, достигший поста редактора «Московских ведомостей», сотрудничавший с П.А. Столыпиным и создавший в 1905 г. фундаментальный труд «Монархическая государственность», в котором есть и небольшая главка о Леонтьеве. Но это был самостоятельный путь Тихомирова!

В.В. Розанов, заочное знакомство с которым Леонтьев поставил наравне с собственным постригом, ушёл в религиозные искания. Нельзя сомневаться в том, что Розанов действительно искренне уважал Леонтьева, однако впечат-

²⁹ Отмечу, что выпущенное в 2010 г. в издательстве РОССПЭН издание избранных работ С.Ф. Шарапова, в отличие от используемого в монографии (с. 436 и далее) издания 2005 г., не содержит искажений текстов и исключённых (возможно, по идеологическим мотивам) глав.

ление о нём как о человеке он мог составить только по работам самого мыслителя, относительно недолгой переписке с ним и отзывам (далеко не всегда беспристрастным, как верно показывает Фетисенко) общих друзей и знакомых. Восхищаясь леонтьевским язычеством, размышляя об особенностях его личной жизни, оценивая его религиозный опыт, Розанов, как и многие люди Серебряного века³⁰, сознательно или неосознанно стремился привлечь Леонтьева себе в союзники. При этом для Розанова сложившийся в его представлении, во многом мифологизированный, образ Леонтьева был дороже и важнее реально-го Константина Николаевича. Когда началась их переписка, Розанов, будучи учителем, хлопотал о своём выезде из Ельца. Леонтьев хотел помочь ему перевестись в Москву, что позволило бы им встречаться. Словно предчувствуя скорую смерть, он писал: «*Прошу Вас верить, до чего мне, полуживому из эгоизма* дорого было бы свидание с Вами, именно с Вами! Неужели Вы сами постичь сердцем этого не можете?»³¹. Но Розанов не спешил. В более позднем примечании к данному отрывку из письма Леонтьева он признавался: «Конечно, всё очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиданном человеке, заставило меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нём. Так мы и не свиделись»³².

Судьбы А.А. Александрова, Г.И. Замаараева, Я.А. Денисова, Н.А. Уманова, И.И. Кристи, Ф.П. Чуфрина, А.Н. Волжина, И.И. Колышко и их общение с Леонтьевым впервые воссозданы столь подробно и тщательно. Но эти поклонники леонтьевского таланта так и не смогли создать что-то оригинальное и фундаментальное! Исключением стал о. Иосиф Фудель, «никогда не бывший леонтьевцем», но много сделавший для сохранения памяти мыслителя. Одна только эпопея с подготовкой и изданием дореволюционного собрания сочинений Константина Николаевича дорого стоит (с. 639–641). Если же говорить о старых соратниках, то до конца с ним оставался, пожалуй, только Т.И. Филиппов. При жизни Константин Николаевич общался с ним свободно, оставив замечательную переписку, где мы видим и самоиронию, и даже радикальные (с точки зрения тогдашнего «общественного мнения») оценки и суждения. Когда Леонтьева не стало, Филиппов оказался одним из немногих, проявивших участие в судьбе его вдовы, страдавшей душевной болезнью, и племянницы. Если бы не его хлопоты, их существование ничем не было бы обеспечено, поскольку после смерти Леонтьева «на лицо оказалось менее 50 рублей» (с. 723).

Завершая анализ, сделаю вывод, что книга О.Л. Фетисенко заслуживает высокой оценки и послужит основой для работ других исследователей, обращающихся к истории русской консервативной мысли второй половины XIX – первой четверти XX в.³³

³⁰ Подробнее см.: Ковешникова Н.А. Идеи К. Леонтьева в культуре серебряного века. Дис. ... канд. культурологии. М., 2000.

³¹ Письма К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову // Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1990. С. 183–184.

³² Там же. Подробнее см.: Репников А.В. К истории взаимоотношений В.В. Розанова и К.Н. Леонтьева // Незавершённая энтелехийность: отец Павел Флоренский, Василий Розанов в современной рефлексии: Сборник статей. Кострома, 2003. С. 249–258.

³³ Некоторые из направлений для дальнейших исследований намечены самим автором в главе «О том, чего нет в этом разделе» (с. 143–153).

Книга О.Л. Фетисенко возвращает своего читателя сразу к двум периодам большого стиля: ко времени создания масштабных социальных утопий и к той сравнительно недавно ушедшей эпохе, когда интеллигентная публика с восторгом зачитывалась тысячестраничными исследованиями по истории русской мысли. Увесистый «кирпич» монографии сразу наводит на архитектурные ассоциации, и последние тут же подтверждаются автором: «Книга рассказывает об историко-литературных раскопках одного здания, возможно, даже храма» (с. 5). На первых же страницах «Предупреждения» обозначено присутствие в леонтьевском наследии архетипа «дома» и раскрывается смысл нового, крайне важного для русской интеллектуальной истории, термина «гептастилизм» – «семистолпной» основы леонтьевской историософской концепции.

Одного этого термина достаточно, чтобы понять: перед нами прорыв как в леонтьевоведении, так и в изучении всей истории русского консерватизма. Созданный К.Н. Леонтьевым комплекс идей принято называть «византизмом», однако попытка использовать опыт «сухого» и мрачного византийского империализма (не имевшего ничего общего с реальной ромейской цивилизацией) для спасения России от «собачьей старости эгалитарного прогресса» – лишь один из элементов проекта, создававшегося «русским Ницше». «Византиец» Леонтьев неоднократно демонстрировал как свою чуждость византийской политической культуре, так и, наоборот, свою близость «цветущей сложности» католической Европы: «Отношение сердца к католицизму – есть прекрасное мерило для распознания в человеке русском рода его веры. Настоящее лично-религиозное чувство предпочтёт папу даже и весьма национальному нашему староверчеству уже потому, что оно не имеет правильного, исходящего непрерывно от апостолов священства» (с. 124–125). Чужда византийскому «индивидуализму без свободы»³⁴ и солнечно-аристократическая непринуждённость (*désinvolture*)³⁵, к которой в своём быту стремился Константин Николаевич, всегда жалевавший, что он «вовсе (увы!) не мрачен на деле»³⁶, но видевший при этом в хандре «что-то вроде севрюги, по крайней мере, по неизяществу звука»³⁷.

Своего рода «горгульями», украшающими семистолпное «здание» леонтьевской концепции, оказываются и те его идеологемы, на которые обычно обращают внимание адепты и оппоненты политического консерватизма – антилиберализм, антидемократизм, неприятие национализма (вернее, национал-демократии). Леонтьев – враг либерализма, но лишь потому, что «теперь либералами заборы подпирают»³⁸. В те времена, когда либерализм вёл «к цвету, к творчеству, к росту»³⁹, Константин Николаевич принял бы его с радостью. То же с демократией. Ещё В. Соловьёв (сам бывший, как известно, объектом любви-ненависти оптинского отшельника) отмечал, что «была... толпа, которую Леонтьев любил по-своему и признавал простой народ, поскольку он

³⁴ Каждан А.П. Византийская культура (X–XII вв.). СПб., 2006. С. 14.

³⁵ Юнгер Э. Сердце искателя приключений. М., 2004. С. 127–132.

³⁶ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Кн. 1. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 338.

³⁷ Письма К.Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карповым. 1878 г. СПб., 1911. С. 18.

³⁸ Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем... Т. 7. Кн. 2. СПб., 2006. С. 120.

³⁹ Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 102.

сохраняет свою бытовую обособленность»⁴⁰. Таким образом, почти никем не услышанные в своё время призывы «подморозить Россию» не были несущей конструкцией леонтьевской системы. К таковым конструкциям скорее следует отнести историческую интуицию, эстетический гуманизм («эстетика жизни, а не искусства»)⁴¹, многогранность и своеобразное обаяние леонтьевской личности со всеми её «призывами к ultra-биологическому, к жизненно-напряжённому»⁴².

О.Л. Фетисенко завершает свою работу констатацией: «По-прежнему “оптинский отшельник” для одних служит предметом поклонения, которому усердно кадят, “чтобы других задеть кадилом”, для других – карманным цитатником, для третьих – пугалом (“махровый реакционер”), для иных – остров приправой (“Алкивиад”, “Сулейман в куколе”), ещё для иных – “вечным спутником” и мудрым собеседником» (с. 748). Очевидно, доля истины есть в каждой трактовке и, как нам представляется, читатель вправе самостоятельно решить, чей Леонтьев ему ближе – «бердяевский», «розановский» или «тихомировский». Монография не столько разрушает эти образы, сколько помогает осознать ограниченность любого из них и необходимость того, что Э. Юнгер называл стереоскопическим восприятием. Колоритный леонтьевский текст – идеальное воплощение юнгеровской «истинной стереоскопии внутреннего контраста», а некоторая доморощенность и грубоватость леонтьевской мысли только придают ей привлекательности: «Когда строят руками, всегда образуются стереоскопические уголки, приглашающие фантазию вить свои гнёзда. Что может лучше подтвердить это, чем старинный дом, где хочется поселиться, едва его увидишь, и где под фронтонами излюбленные места для гнёзд, свиваемых скрытыми красноножками»⁴³.

Собственно, и сама монография представляет собой пример подобной ручной работы с той лишь разницей, что, заявив о своём нежелании «строить мостики в современность» (с. 6), О.Л. Фетисенко заранее избавила труд от посягательств идеологических «красноножек», считающих Леонтьева предтечей сталинизма. Фундаментом работы являются подготовленные Ольгой Леонидовной масштабные публикации источников: академическое полное собрание сочинений К.Н. Леонтьева и два примыкающих к нему эпистолярных комплекса: переписка публициста с Т.И. Филипповым⁴⁴ и И. Фуделем⁴⁵. Наконец, сам «корпус» исследования состоит из трёх частей-«нефов», посвящённых, соответственно воссозданию концепции «гептастилизма», леонтьевским «собеседникам» и ученикам.

Историософская концепция К.Н. Леонтьева представляет собой «целую свою собственную систему отвлечённых идей религиозных, политических, философских, бытовых, художественных и экономических», к которым рано или поздно придёт, по его мнению, «Славянство» (с. 84). В основе его религиозных представлений лежит революционная для петербургской России идея сильной и независимой Церкви, а также «оптимистический пессимизм мировоззрения», построенный на личной, а не «народной» вере. В политике Константин Николаевич стремится сочетать традиционные русские «инь и янь»: «Побольше

⁴⁰ К.Н. Леонтьев: pro et contra. Т. 1. СПб., 1995. С. 21.

⁴¹ Леонтьев К.Н. Избранные письма. СПб., 1993. С. 447–449.

⁴² Розанов В.В. Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 323.

⁴³ Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб., 2010. С. 162–163.

⁴⁴ Пророки византизма...

⁴⁵ «Преемство от отцов»...

местного самоуправления с мужицким оттенком в уездах и побольше отеческого самоуправления в высших сферах власти». В области юридической мыслитель предсказывает, что «не будет позволено *жить где и как угодно*». Зато в сфере философской он видит задачу будущего общества в том, чтобы «уничтожить... излишнее обоготворение науки». Прогрессизму XIX в. он противопоставляет науку «суровую, печальную», которая станет служанкой религии. На первый взгляд, это противоречило будущему переходу от сохи к атомной бомбе, но если вдуматься – что может быть печальнее научного атеизма? Наконец, в бытовой и художественной сферах Леонтьеву необходимы были «эстетика жизни» и «хороший реализм». Экономика явно не относилась к числу леонтьевских приоритетов, некоторые элементы социализма сочетались в его замыслах с идеей неотчуждаемости частной собственности (с. 87–89).

Впрочем, для знатоков творчества Леонтьева во всём этом нет ничего нового. Важнее здесь само отношение мыслителя к своим «пророчествам». Оно проясняется из впервые публикуемых в «Приложении» к первой части книги уникальных леонтьевских рукописей. Самое яркое в них – запоминающаяся аллегория: как воображаемые древними драконы отличались от настоящих «летающих крокодилов», которых изучает современная палеонтология, так и леонтьевский «гептастилизм» будет отличаться от «реального крокодила» русского XX в.: *«Нет ничего в уме человеческого, чего бы не было прежде или не будет после в природе вещей.* – Таково, я думал, и моё новое учение *Эптастилизма...* Оно не бред фантазии, не мечта совершенно несбыточная, а нечто действительно возможное и даже более, нечто *неизбежно предстоящее* человечеству ли вообще, Славянству ли в особенности... Ошибки с моей стороны неотвратимы, но они, я полагаю, не могут быть много грубее ошибки древних греков, придавших какому-то крокодилу крыло летучей мыши; *а всё-таки были и есть страшные крокодилы и летающие ящерицы.* Будет и по-моему, хотя и не совсем так, как я воображал» (с. 127).

С такой точки зрения интересно вовсе не то, что в леонтьевских пророчествах сбылось. Наоборот, беглый взгляд на итоги XX в. показывает, что именно социализм, на который возлагал свои последние надежды мыслитель, привёл Россию к окончательному «вторичному всесмесьительному упрощению», следовательно, всё было не только «не совсем так», а «совсем не так», как «воображал» Константин Николаевич. Впрочем, «Речь над могилой Пазухина», как и многие другие леонтьевские тексты, свидетельствует, что и сам создатель утопии «гептастилизма» не был чужд эсхатологических настроений: «Китайцы назначены завоевать Россию, когда *смещение* наше (с европейцами и т.п.) дойдёт до высшей своей точки. И туда и дорога *такой* России»⁴⁶. Это придаёт концепции Леонтьева сродство ещё с одним юнгеровским образом – «покинутым постом» – и ставит мыслителя «в положение игрока в шахматы, готовящегося к долгому, изощрённому эндшпилю, хотя и сознающего неизбежность своего поражения»⁴⁷.

С другой стороны, справедливо ли видеть в Леонтьеве «одинокого воина», защищающего покинутый «аристократической оппозицией»⁴⁸ последний рубеж? «Стереоскопическое восприятие» леонтьевского наследия невозможно

⁴⁶ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 364.

⁴⁷ Юнгер Э. Сердце искателя приключений. С. 132.

⁴⁸ Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2012.

без знания того интеллектуального контекста, в котором пульсировала мысль русского «scriptor elegantissimus»⁴⁹. Вторая часть книги освещает взаимоотношения Константина Николаевича с идеологами того времени. О его спорах с В. Соловьёвым и И. Аксаковым известно давно. Отношениям с С. Шараповым и Т. Филипповым были посвящены прежние публикации О.Л. Фетисенко, но и здесь автор говорит немало нового, например, соотнося публицистику С.Ф. Шарарова скорее с французской, чем с русской журналистикой. Наконец, даже образованному читателю совершенно неизвестен редактор газеты «Восток» Н.Н. Дурново. Колоссальный интерес представляет характеристика учеников Леонтьева (о которых в своё время столь презрительно отзывался Розанов⁵⁰), устанавливающая «связь времён» с XX в. Правда, некоторых «кирпичиков» здесь явно не хватает: очень мало сказано о Ю.С. Карцове и К.А. Губастове, о полемике Леонтьева с А.А. Киреевым, блестяще преодолевшим возведённый Константином Николаевичем водораздел между аристократическим консерватизмом и национализмом. Однако все эти претензии были бы уместны, если бы мы не знали, что «Гептастилисты» – результат труда лишь одного исследователя. И в этом случае масштаб произведённых автором «раскопок» не может не вызывать восхищения. Фактически перед нами целая энциклопедия, посвящённая неудавшейся попытке русской контрреформации.

Дмитрий Бадалян: Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы

Ещё 25-летний А.Ф. Лосев отметил, что «русская философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая берёт начало в общем духе времени, со всеми его положительными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом»⁵¹. Едва ли не лучшее подтверждение тому – творчество К.Н. Леонтьева, изначально писавшего для газетной и журнальной периодики, зачастую откликавшегося на злобу дня, но, в соответствии со своей идеей «высокой публицистики», стремившегося к синтезу научного и художественного. Не случайно К.П. Победоносцев считал передовые Леонтьева из «Варшавского дневника» лучше блестящих катковских статей.

Личность Леонтьева при всём том немалом интересе, который проявили в последние 15–20 лет к его наследию историки, философы и филологи, всё ещё остаётся связанной со многими мифами и домыслами. Появление тщательно документированного исследования О.Л. Фетисенко позволяет избавиться от многих из них. Впервые реконструируя идеи Леонтьева о «новой восточной культуре», она рассматривает их как глубокое и целостное учение. Кроме того, ею впервые же показаны попытки Леонтьева (отнюдь не во всём удачные) сформировать собственную литературную и философскую школу. Изучение отношений, складывавшихся внутри этой школы, – бесспорная заслуга Фетисенко, сумевшей осветить жизненный путь ряда забытых уже фигур, таких как любимый ученик Константина Николаевича И.И. Кристи или «обращённый нигилист» Ф.П. Чуфрин.

⁴⁹ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Кн. 1. С. 368.

⁵⁰ Там же. С. 331.

⁵¹ Лосев А.Ф. Русская философия // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 71.

Немалую часть монографии занимает анализ острых коллизий и человеческих отношений, связывавших Леонтьева с Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, В.С. Соловьёвым или мало кому известным издателем газеты «Восток» Н.Н. Дурново (даже год его рождения ещё недавно указывали только приблизительно). Мировоззрение самого Леонтьева и близких к нему деятелей раскрывается в тесной связи с обстоятельствами их жизни и общения. Так, биографические и антропологические ракурсы помогают по-новому увидеть эволюцию и столкновения идей, возникавших в русской мысли на протяжении более полувека.

Работа над этой книгой протекала одновременно с подготовкой уже знакомых историкам и филологам охристо-жёлтых томов академического собрания сочинений К.Н. Леонтьева. Помимо этого, Фетисенко опубликовала ряд рукописей, дневников, обширный комплекс переписки Леонтьева и его современников. Автор «Гептастилистов» – прекрасный текстолог и археограф, и то, что свои выводы она строит на огромном, во многом ею же сформированном источниковедческом фундаменте, придаёт им особую убедительность и прочность.

На первых же страницах, говоря об истоках русского консерватизма, исследовательница вспоминает знаменитую уваровскую триаду и приводит слова Ю.Н. Говорухи-Отрока о том, что эта «старая николаевская формула» «ожила в славянофильстве, углубилась, расширилась, одухотворилась», более того, «православие, самодержавие, народность – в этом самая сущность славянофильства» (с. 7). Всё это не вызывает возражений, но требует некоторых поправок. Прежде всего, вопреки словам автора о том, будто «впервые эта тройственная идея сформулирована в 1818 г.» в речи С.С. Уварова, публично триада «православие, самодержавие, народность», как известно, первый раз использовалась в созданном по инициативе Уварова «Журнале Министерства народного просвещения»⁵², а более ранние её упоминания встречаются лишь в документах, направленных Уваровым лично Николаю I в 1832 г.⁵³ В «Речи президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года», на которую ссылается Фетисенко, нет формулировок, напоминающих известную триаду. Между тем именно тогда, за десятилетия до «Византизма и славянства», была высказана вполне созвучная Леонтьеву мысль: «Государства имеют свои эпохи возрождения, своё младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость... Желание продолжить один из сих возрастов далее времени, назначенного природою, столь же суетно и безрассудно, как желание заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели»⁵⁴. Чем объясняется такое сходство мысли двух столь разных идеологов консерватизма, ещё только предстоит высказать.

Но что, казалось бы, могло быть общего между идеологией, провозглашённой министром Николая I, и взглядами славянофилов, испытавших на себе необыкновенную подозрительность власти и крайнюю строгость цензуры? Не случайно на протяжении десятилетий они предпочитали никак не высказывать своего от-

⁵² Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. Ч. I. С. L.

⁵³ Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2004. С. 343.

⁵⁴ Уваров С.С. Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года. СПб., 1818. С. 52.

ношения к уваровской триаде. Когда же в 1884 г. последний из них, И.С. Аксаков, всё-таки заговорил о ней, то сразу же заявил, что это выражение «надолго скомпрометировало в русском общественном мнении» свою истинность (с. 7).

Мысль об участии А.С. Хомякова в создании уваровской триады казалась настолько абсурдной, что на неё не обращали внимания, несмотря даже на свидетельства П.И. Бартенева, хорошо знавшего Алексея Степановича⁵⁵. А между тем в начале 1830-х гг. Хомяков действительно был близок к Уварову⁵⁶, который осенью 1832 г., будучи ещё товарищем министра, предлагал ему заняться изданием «Журнала Министерства народного просвещения»⁵⁷. Однако Хомяков отказался. Сознывая, по-видимому, что внедряемая правительством идеология неминуемо обесцвечивает самые яркие и глубокие мысли, он предпочёл дистанцироваться от просвещённого бюрократа Уварова и выдвинутых им лозунгов.

Характерно, что рассуждая об элементах знаменитой триады, Уваров весьма туманно писал о «народности», и из его слов трудно понять, какое именно содержание вкладывал он в этот термин. Очевидно, для министра он был наименее важным⁵⁸. Леонтьев со своей стороны неоднократно обрывал уваровскую формулу на втором слове, явно не желая ставить «народность» в один ряд с «православием» и «самодержавием» и используя совершенно неадекватные замены – «сословный строй», «неотчуждаемость крестьянских земель» и т.п. По словам С.М. Сергеева, Константин Николаевич «крайне подозрительно относится к “народности” как самодостаточному принципу»⁵⁹. В этом он ещё более отдалялся от славянофилов, известных своей апологией «народности», и приближается к Уварову.

И.С. Аксаков, по словам О.Л. Фетисенко, был для К.Н. Леонтьева «одним из постоянных внутренних оппонентов, пожалуй, наравне с Достоевским» (с. 185). Их идейное противостояние объясняется в книге, в первую очередь, принадлежностью к двум различным типам православия, которые Леонтьев характеризовал как «филаретовское» и «хомяковское». Справедливо рассматривая последнее как «славянофильское», исследовательница несколько преувеличивает существовавшие между ними расхождения, приводя в качестве аргумента несколько пренебрежительных отзывов Аксакова о митрополите Филарете, сделанных в письмах (но не в публичных выступлениях!) в 1847, 1853 и 1857 гг. (с. 167–169, 174). Между тем эти оценки отражали позицию лишь самого Ивана Сергеевича, а не всех славянофилов. Их явно не разделяли И.В. Киреевский, сотрудничавший с митрополитом Филаретом «в деле переводов и издания Святых отцов» (с. 168), и А.И. Кошелёв (с. 169). Да и сам И.С. Аксаков

⁵⁵ В примечаниях к воспоминаниям Д.Н. Свербеева Бартенев отметил, что «великий символ» утвердился в сознании Уварова «едва ли не вследствие бесед с А.С. Хомяковым» (Русский архив. 1868. № 6. С. 731).

⁵⁶ Ц.Х. Виттекер указывала, что Уваров «хвалил царю Хомякова» (*Bumteker Ц.Х.* Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 125). Об отношениях Хомякова и Уварова см. также бартеневское примечание к стихотворению Хомякова, которое Бартенев озаглавил «Разговор с С.С. Уваровым». (Русский архив. 1863. № 4. С. 303–304).

⁵⁷ Мазур Н.Н. К ранней биографии А.С. Хомякова (1810–1820) // Лотмановский сборник. Т. 2. М., 1997. С. 211.

⁵⁸ По мнению Н.И. Цимбаева, для Уварова наличие в формуле третьего элемента было данью немецкой философии с её известными «триадами»: Цимбаев Н.И. «Под бременем познания и сомнения...» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников). М., 1989. С. 30–31.

⁵⁹ Сергеев С.М. Творческий традиционализм К.Н. Леонтьева. Статья первая. (URL.: <http://www.portal-slovo.ru/history/41602.php>).

впоследствии, почувствовав себя наследником и продолжателем дела славянофилов, изменил своё отношение к владыке. В 1867 г. в газете «Москва» он называл здравствовавшего ещё тогда митрополита «светильником высокого ума, знания и всем явной жизни», а также «огромной духовной силой, охраняющей, *из себя самой почерпаямою властью*, неизменность обычая и целостность духовного предания»⁶⁰. В 1883 г. Аксаков перепечатал эту статью в «Руси», добавив к ней вводную и заключительную части, в которых он возражал на критику покойного святителя в статьях профессора Киевской духовной академии Ф.А. Терновского в «Новом времени». Аксаков писал теперь про свою оппозицию не к митрополиту Филарету, а к его противнику – обер-прокурору Святейшего Синода (и, как иронично подчёркивал славянофил, «гусарскому полковнику») гр. Н.А. Протасову.

Из этого вовсе не следует, что деление на «хомуковское» и «филаретовское» православие совершенно надуманно. Оно отчётливо выражено в рассуждениях Леонтьева, являвшегося апологетом «филаретовского» пути. Весьма показательно было и отношение самого владыки к славянофилам. Ведь именно по его воле в 1855 г. был удалён из Московской духовной академии Н.П. Гиляров-Платонов (тут же примкнувший к славянофилам). Сталкиваясь с Хомуковым «в самой Москве» (т.е. в публичной обстановке), митрополит Филарет «был с ним холодно вежлив, но встречаясь с ним за чертами города, был с ним необыкновенно любезен и дружески жал ему руку». Рассказывая об этом со слов Алексея Степановича, Д.В. Хитрово объяснял подобное поведение тем, что «до конца пятидесятих годов Хомукова и его друзей правительство считало какими-то богоотступниками и отчаянными либералами»⁶¹. Последнее выражение особенно важно, поскольку позднее Леонтьеву московские славянофилы казались «слишком либеральными». Именно этим он объяснял свой разлад с ними. «Крамольность» славянофилов заключалась в том, что, будучи активными противниками представительного правления, они тем не менее считали источником монархической власти в России не самого царя, а народ.

Из вскользь брошенной автором фразы о «благословениях, какими встретил тот же Аксаков реформы Александра II» (с. 178), может создаться впечатление, будто Иван Сергеевич являлся последовательным сторонником преобразований 1860-х гг. Между тем он всегда оставался их чутким критиком. В адресе старообрядцев, где прозвучали запомнившиеся Леонтьеву слова «в новизнах твоего царствования нам старина наша слышится», речь шла не о поддержке реформ, а о выражении солидарности с императором во время разгоревшегося польского восстания и угрозы интервенции европейских держав. Кстати, адрес этот направили императору не дунайские, как сказано в комментариях к восьмому тому собрания сочинений Леонтьева⁶², а московские старообрядцы-беспоповцы Преображенского богадельного дома. Авторство его приписывалось то Каткову (в газете которого он был напечатан), то Аксакову⁶³. Сам факт неоднократного цитирования адреса Аксаковым, для которого Катков являлся ещё большим оппонентом, чем Леонтьев, заставляет усомниться в том, что он был составлен редактором «Московских ведомостей». Причём Аксаков, вспоминая

⁶⁰ Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1887. С. 691.

⁶¹ [Хитрово Д.В.] Воспоминания об Алексее Степановиче Хомукове // Наше наследие. 2004. № 71. С. 92.

⁶² Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем... Т. 8. Кн. 2. СПб., 2009. С. 1174.

⁶³ Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 17. М., 1959. С. 154, 418; Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889. С. 232.

слова адреса в 1881 г., уже добавлял: «Правда, много затем пошло и такой новизны, в которой уже никакой “старины” не слышалось»⁶⁴.

«Преданным учеником Аксакова, постигавшим в общении с учителем основы славянофильского воззрения» (с. 406), в монографии назван С.Ф. Шарапов. Как полагает Фетисенко, его газету «Русское дело» «можно назвать продолжением “Руси”», даже «несмотря на нерешённость вопроса о личном преемстве Шарапова Аксакову» (с. 418). Однако не следует всё же путать уважение к памяти человека, а в случае с «Русским делом» – поначалу даже своеобразный культ Аксакова, и сознательную преемственность идей.

Не случайно бывших авторов и читателей «Руси» порой возмущало то, что в «Русском деле» звучали заявления, расходившиеся с позицией Аксакова⁶⁵. Сам же редактор «Руси» с иронией относился к амбициозным надеждам Шарапова заменить его во главе газеты, хотя бы только на время болезни. После кончины Аксакова многие современники осознавали, что возродить «Русь» без него невозможно. Близкие к Аксакову люди весьма резко отзывались о попытках Шарапова занять место её издателя (с. 418)⁶⁶. Сергей Фёдорович действительно был именно из тех, кого в начале XX в. Н.А. Бердяев назвал «непрощенными друзьями и последователями» славянофилов⁶⁷.

Дмитрий Стогов: Воздействие идей К.Н. Леонтьева на русских монархистов начала XX в. ещё нуждается в исследовании

Монография известного петербургского учёного Ольги Леонидовны Фетисенко, вне всякого сомнения, представляет огромный научный интерес. Исследовательницей впервые выявлен и проанализирован обширный круг исторических источников, в том числе и архивных. Поражает и объём труда, и ценнейший иллюстративный материал, представленный в книге, что уже отмечалось рецензентами⁶⁸.

Само понятие «гептастилисты» (точнее, в тогдашней орфографии – «эптастилисты»; от греческого «семь столпов») придумано К.Н. Леонтьевым и может быть переведено как «седмистолпники» – последователи учения Леонтьева о семи столпах (основах) новой культуры. Вторая глава первой части и первая глава третьей части монографии О.Л. Фетисенко посвящены подробному разбору этого понятия, восходящего к библейскому: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь» (Притч 9.1). В статье Леонтьева «Письма о Восточных делах» Фетисенко обнаруживает даже перечисление этих «семи столпов» (названных здесь «отвлечёнными идеями»): религиозная, философская, политическая, юридическая, экономическая, бытовая, художественная идеи. Как отмечает исследовательница, «все они существуют в любой культуре, но у Леонтьева получают новое смысловое наполнение»⁶⁹. «Срединным

⁶⁴ Аксаков И.С. Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002. С. 721.

⁶⁵ Русское дело. 1886. 12 июля. № 12. С. 5; 18 октября. № 26. С. 3.

⁶⁶ См. также: Бадалян Д.А. Круг авторов газеты И.С. Аксакова «Русь» // Культура и история. Материалы межвузовских научных конференций «Культура и история» (2004–2007). СПб., 2009. С. 195–196.

⁶⁷ Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков // Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Алексей Степанович Хомяков. М., 2007. С. 429.

⁶⁸ См. также: Котов А.Э. Эстетический академизм.

⁶⁹ Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2012. С. 12.

столпом» (соответственно, восьмым, вне общего счёта стоящим, скрепляющим или несущим на себе всю остальную конструкцию) К.Н. Леонтьев в записке, адресованной Я.А. Денисову, называл самодержавие.

К концу 1880-х гг. Леонтьев, по словам Фетисенко, встретил «первых последователей», в общении с которыми создал «нечто вроде “школы” (в античном понимании этого слова) или тайного общества». Часть учеников «относилась к этому как к игре, другие же становились “солдатами гептастилистической армии” (слова И.И. Кристи), проявлявшими себя на разных поприщах – в журналистике, учёной деятельности, церковном служении и т.д.»⁷⁰. Не менее важным представляется и влияние идей «гептастилизма» К.Н. Леонтьева на формирование мировоззрения участников правомонархического (черносотенного и националистического) движения начала XX в.⁷¹ В монографии О.Л. Фетисенко собраны и проанализированы уникальные факты как очных, так и заочных его контактов с рядом деятелей, игравших впоследствии видную роль в черносотенных и националистических кругах. Среди них известные публицисты и издатели, писатели, организаторы правомонархических салонов, церковные и общественные деятели – иеромонах (впоследствии митрополит) Антоний (Храповицкий), В.А. Грингмут, Ю.С. Карцов, И.И. Колышко, кн. В.П. Мешерский, Е.Н. Погожев (Поселянин), Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов (с. 397–440), граф С.Д. Шереметев. Некоторые монархисты становились горячими поклонниками мыслителя уже после его смерти. Так, будущего председателя фракции правых в III Государственной думе профессора А.С. Вязигина познакомил с идеями Леонтьева его друг и единомышленник, один из учредителей и активных деятелей Харьковского губернского отдела Русского собрания Я.А. Денисов, входивший в кружок ближайших учеников Константина Николаевича.

Отношение к взглядам Леонтьева у черносотенцев было различным. Грингмут разделял критическое отношение Леонтьева к «братьям-славянам». «Великая заслуга верного определения наших “братушек” принадлежит всецело К.Н. Леонтьеву и отчасти Достоевскому, которые пытались раскрыть нам глаза относительно истинной сущности славянского вопроса ещё задолго до наших последних разочарований в болгарях», – писал он в 1890 г. в «Русском обозрении» (с. 262–263). Ю.С. Карцов, напротив, постоянно пребывал в полемике с Константином Николаевичем, часто посещавшим салон Карцовых (с. 478). Это, однако, не помешало ему впоследствии принимать участие в популяризации наследия писателя и философа и стать активным членом кружка, созданного для

⁷⁰ Там же. С. 11.

⁷¹ В историографии под «правыми» традиционно понимают «консервативные партии, отстаивавшие и отстаивающие традиционные – политический, социальный, экономический, религиозный, бытовой – уклады жизни, стоящие за сохранение основ существующего или существовавшего строя». Поскольку они выступали за сохранение самодержавия, термин «правые» фактически являлся синонимом словосочетания «монархические организации». Кроме того, они ратовали за первенство «русской народности» и православия на территории проживания великороссов, малороссов и белорусов, которые рассматривались ими как части триединого русского народа (Правые партии. Документы и материалы. 1905–1917 гг. Т. 1. М., 1998. С. 5). Об идеологических различиях между националистами и черносотенцами см.: Иванов А.А. «Россия для русских»: pro et contra. Правые и националисты конца XIX – начала XX века о лозунге «русского Возрождения» // Трибуна русской мысли. 2007. № 7. С. 92–101; он же. К вопросу о содержании лозунга «Россия для русских» во второй половине XIX века // Герценовские чтения 2012. Актуальные проблемы социальных наук: Сборник научных и учебно-методических трудов. СПб., 2013. С. 57–63.

этого в 1908 г. К.А. Губастовым⁷². Деятельное участие в его составлении принял и владыка Антоний (Храповицкий), поначалу относившийся к К.Н. Леонтьеву неоднозначно. В полемике о «служении общественному благу» он был ближе к В.С. Соловьёву, нежели к его оппонентам, включая Леонтьева. Ю.Н. Говоруха-Отрок, подразумевая тогда ещё иеромонаха Антония, сетовал на то, что «одно духовное лицо» предлагает читателю «сентиментальное христианство, “христианство на розовой водице”, как любил выражаться покойный Леонтьев, христианство, из которого окончательно изгнан *страх Божий*» (с. 453). Тем не менее осенью 1891 г., незадолго до смерти Константина Николаевича, о. Антоний много общался с ним (и, кстати, впоследствии отпевал его) (с. 716).

К сожалению, лишь немного в книге О.Л. Фетисенко говорится о восприятии идей К.Н. Леонтьева приват-доцентом римского права Б.В. Никольским – членом Русского собрания и Главного совета Союза русского народа, убеждённым сторонником А.И. Дубровина⁷³. Борис Владимирович не был лично знаком с Леонтьевым, но ещё с юности увлекался его сочинениями. «Пишущий эти строки на себе испытал в молодые годы эту раскрепощающую силу произведений Леонтьева, – вспоминал он в 1911 г., – и немногим писателям так благодарен, как именно этому великому освободителю. Против затхлого, заплесневелого в своём убожестве российского либерального доктринёрства и бесшабашно невежественного нигилизма, он выступает такую же элементарно-властной и одиноко-властною фигурю, какою на наших глазах П.Н. Дурново обрисовался на фоне сановных трусишек бюрократии наверху, внизу – камаринских товарищей революционеров и пресмыкающихся убийц из-за угла»⁷⁴. Как и Леонтьев, Никольский указывал на пагубность равенства и смешения различных социальных групп. «Все должны быть равны перед законом: но из этого никоим образом не выходит, чтобы все законы для всех должны были быть одни, – писал он в дневнике 6 мая 1901 г. – Это безумие. Дворянству – т.е. служилому сословию – своё, свободным профессиям – своё, купечеству – своё, духовенству – своё, военным – своё, мещанству – своё, фабричным – своё, прислуге – своё, студентам – своё. Законы должны быть гибки и разнообразны. Тогда и получится порядок, леонтьевски изящная, пёстрая, красивая организация. Тогда возможна и строгость, и стройность, и твёрдость, и сила. Тогда никого не задушите подлой эгалитарностью. Невозможна свобода в однообразии!»⁷⁵. «Что же касается до “Московских ведомостей” с их сословностью, то они несносны, – отмечал он в дневнике 16 мая 1897 г. – У Леонтьева его поклонение сословности было частью кровною традицией, частью – идеалом художника; это было личное дело, неотделимое от него самого, один из контрастов, составлявших этого удивительного человека. У Мещерского его сословность

⁷² Кружок занимался переизданием произведений Леонтьева и выпустил к 20-летию со дня его кончины «Леонтьевский сборник» (Памяти Константина Николаевича Леонтьева. 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911). См. также: *Карцов Ю.С.* Хроника распада (Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, ф. 2, оп. М, д. 76, л. 312); *он же.* Хроника распада. К.Н. Леонтьев и М.Н. Катков // Новый журнал (Нью-Йорк). 1980. № 138; Письма К.Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 г. СПб., 1911.

⁷³ Подробнее см.: *Стогов Д.И.* «Религия Леонтьева была религиею подвига и жертвы»: (Б.В. Никольский о наследии К.Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. Сборник VII. СПб., 2012. С. 225–249.

⁷⁴ *Никольский Б.В.* К характеристике К.Н. Леонтьева // *Никольский Б.В.* Сокрушить крамолу / Сост.: Д.И. Стогов. М., 2009. С. 361.

⁷⁵ РГИА, ф. 1006, оп. 1, д. 46 (д. 1), л. 172 об.–173.

опять-таки личное дело, это программа его прошлого политического влияния, которой он изменить не в силах»⁷⁶.

Конечно, не следует отождествлять взгляды монархистов начала XX в. и К.Н. Леонтьева. Однако определённая преемственность поколений в русской консервативной мысли несомненно была⁷⁷. Она вела от А.С. Хомякова к Н.Я. Данилевскому и К.Н. Леонтьеву, а затем к В.А. Грингмуту, Л.А. Тихомирову, Б.В. Никольскому и др. Разумеется, нельзя смешивать славянофильство и черносотенство, являвшееся всё же не идейным течением, а политическим движением, на идеологию которого оказали огромное воздействие не только славянофилы, но и М.Н. Катков, К.П. Победоносцев и др. И влияние идей К.Н. Леонтьева на формирование концепций русских монархистов начала XX в., безусловно, заслуживает самого пристального рассмотрения и ещё ждёт своего исследователя.

Елена Мамонова: «Православные миряне» в спорах о Церкви

Исследование О.Л. Фетисенко, несмотря на внушительный объём, читается на одном дыхании, поскольку в нём чувствуется некое созвучие между автором и мыслителем, творчеству и окружению которого оно посвящено. Для исследовательницы, как и для К.Н. Леонтьева, характерно предельно внимательное отношение к слову. Прямые цитаты и аллюзии (библейские, литургические, святоотеческие и проч.), малоизвестные поговорки и слова, изменившие своё значение, подробно комментируются, учитываются все их скрытые смыслы и намёки, которые могли бы ускользнуть от читателя. Например, нашему современнику едва ли будет понятно, почему слова «маргарин» и «мельхиор» используются как ругательства, отчего «общегуманитарное» является для Леонтьева синонимом «еретического», и каково подлинное значение «розового», «подслащенного» и «пресного» («несоленого») (с. 219–220, 260, 277). Пожелание Леонтьева сослать гр. Л.Н. Толстого в Томск становится поводом для изыскания – почему именно туда (с. 283). Отсылки к литургическим текстам сопровождаются указанием, когда именно они читаются. Например, слова «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь» (Притч 9.1) звучали в известной в XIX в. «даже некнижным людям» паремии на богородичные праздники (с. 82). Столь же пристально (вплоть до пометок на полях книг) всматривается автор и в круг чтения Леонтьева и его собеседников (с. 266–275 и др.), что позволяет яснее представить богословский и церковно-исторический контекст их размышлений.

Характер церковности православной части общества в пореформенной России является одной из наиболее сложных и любопытных тем, затронутых в монографии. Как ни странно, православные публицисты, государственные и общественные деятели чаще всего с большим подозрением относились к вере друг друга. Едва ли не каждый из них (за исключением религиозно индифферентных) только своё православие считал настоящим. Так, славянофилы претендовали на то, что лишь они правильно понимают первую часть уваровской триады, тогда как большинство якобы видело в ней лишь «консервативную

⁷⁶ Там же, л. 6 об.

⁷⁷ Стогов Д.И. Славянофильство и черносотенство: взаимосвязь поколений русских мыслителей XIX – начала XX в. // Информация – Коммуникация – Общество. Материалы X Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 24–25 января 2013 г. СПб., 2013. С. 158–160.

духовно-полицейскую силу, освящающую порядок, дисциплину и правительственную систему», «духовную консисторию», поклонение «букве Св. Писания, строгой обрядности, нетерпимости к иноверцам» (с. 7–8). И.С. Аксаков писал О.А. Новиковой о К.Н. Леонтьеве, что тот «не столько христианин, сколько церковник», ибо «способен оправдывать фанариотов, даже иезуитов» (с. 162). Вместе с Н.П. Гиляровым-Платоновым он заявлял Леонтьеву, что для них «Гамбетта и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид (епископ)» (с. 162–163). Леонтьев, в свою очередь, характеризовал мировоззрение Гилярова как «полуправославие» (с. 193) и противопоставлял «реальному» «филаретовскому православию» «смягчённое» и «видоизменённое» православие славянофилов (с. 176), в богословии которых, по его словам, «таится такая глубокая и отвратительная наклонность к протестантизму, что в смысле противодействия им и стремление в Рим хорошо» (с. 367). Но и Катков для него «в делах Церкви хуже анафемы» (с. 229). Т.И. Филиппову Константин Николаевич сообщал, что Ф.М. Достоевский – лже-пророк, а В.С. Соловьёв – предтеча антихриста и даже «Гартман и Шопенгауэр кой-чем ближе ко Христу, чем эти “усладители”» (с. 218–221). Фёдор Михайлович не оставался в долгу и убеждал К.П. Победоносцева в том, что Леонтьев «в конце концов немного еретик» (с. 260). Т.И. Филиппов видел в Каткове и Победоносцеве «миниатюрное изображение зверя со змием» из Апокалипсиса (с. 215), первый из них – «раб и льстец» (эпитет Иуды в богослужениях Страстной седмицы), а второй – «Копроним» (император-иконоборец).

Конечно, все эти оценки со временем менялись, и «антихриста» Соловьёва Леонтьев в другой раз прочил в патриархи (с. 364). Но показательна сама острота вопроса об «истинном православии» в православной среде, между воцерковлёнными людьми. Впрочем, степень их воцерковлённости также нуждается в изучении. Анализируя переписку Леонтьева и Филиппова, О.Л. Фетисенко отмечает, что «обоих корреспондентов не усыпляло внешнее благополучие Церкви в России», за ним они усматривали «разорение», «запустение», «распушенность» и «равнодушие» (с. 214). И у этого были основания. Например, автор монографии упоминает, что И.С. Аксакова раздражало участие Филиппова в богослужениях: «В то время, действительно, трудно было себе представить дворянина, чиновника, прислуживающего в храме, поющего, читающего. Да и прежде свет прощал такие причуды лишь царям» (с. 202). В статье Ю.Н. Говорухи-Отрока Леонтьев отметил слова о том, что «для нашего общества вопрос религиозный не есть вопрос жизни... общество прислушивается к толкам о религии с каким-то странным любопытством, как к чему-то для него совершенно новому, до сих пор неслыханному» (с. 448). «Верующих как будто стало гораздо больше, но во что они веруют? – скептически вопрошал Л.А. Тихомиров. – Религиозное движение общества скорее похоже на “брожение”, результат которого ещё очень и очень подлежит сомнению» (с. 452).

Каждый затрагиваемый в книге сюжет О.Л. Фетисенко рассматривает подробно и скрупулёзно, старается не упустить ни одной мелочи. Исследователи общественной мысли пореформенной России должны быть благодарны Ольге Леонидовне за ряд атрибутированных статей. Обратной стороной этого является увлечённое углубление в сюжеты и эпизоды, лишь косвенно относящиеся к теме исследования. Однако и в этом случае экскурсы в сторону, несколько нарушающие стройность изложения, неизменно остаются интересными и познавательными.

В частности, очень подробно Ольга Леонидовна осветила контакты Леонтьева с катковским кругом. Помимо деловых связей Константина Николаевича с Михаилом Никифоровичем и их суждений друг о друге в разные периоды, ею детально рассмотрены отношения Леонтьева с основными сотрудниками редакции «Московских ведомостей» и с некоторыми авторами «Русского вестника» (прежде всего с Б.М. Маркевичем), а также с преподавателями и выпускниками Лицея цесаревича Николая. Однако при этом разного рода коллизии, зачастую довольно острые, возникавшие между Леонтьевым и Катковым, излагаются гораздо подробнее, чем их взгляды на те или иные важные для обоих вопросы, в том числе и церковные. И если мнения Леонтьева так или иначе находят отражение не в одной, так в другой главе, то позиция Каткова порою стущёвывается, а то и вовсе излагается не вполне корректно.

Так, комментируя письмо Т.И. Филиппова, обвинявшего Каткова в «искажении и унижении нашего священного символа», Фетисенко поясняет, что «под искажением “священного символа” подразумевается свойственный Каткову и подобным ему политикам и журналистам взгляд на Церковь как на служанку государства и национальных интересов (конечно, открыто редко выражавшийся)» (с. 223–224). Но выражал ли Катков этот взгляд вообще, пусть даже и редко? Во всяком случае, он не раз делал противоположные заявления, тогда как тот же Леонтьев мог изображать религиозные идеи наравне с экономическими, бытовыми и прочими как один из семи «столпов», которые окружают самодержавие; видеть в церковности одно из священных преданий наряду с монархизмом и аристократическим духом и т.д. (с. 86). В одной из статей, которую О.Л. Фетисенко атрибутирует Филиппову, говорится, что «Московские ведомости» касаются церковных дел «более по связи их с вопросами государственными, чем по вниманию к их собственной сущности» (с. 228). Это и впрямь было так, но разве повод к высказыванию передаёт его смысл? Леонтьев, к примеру, однажды собирался написать статью для газеты «Восток» «по поводу виденного мною недавно в Калуге братства для борьбы против староверов», речь же в ней должна была пойти совсем о другом: «Я сведу на Болгарский вопрос и напомним, что Болгарский раскол несравненно хуже русского по 1 000 причин» (с. 383).

Как отмечается в разных главах монографии, для Константина Николаевича вопрос о личной вере и церковности его собеседников был существенно важен. И с этой точки зрения Катков оказывался для него скорее всё же «своим». Не случайно в незавершённой работе «Кто правее?» он относил Михаила Никифоровича к числу приверженцев «реального», «филаретовского», «византийского» православия, а не «смягчённого» «хомяковского» (с. 176).

Фетисенко прямо указывает на созвучие идей Леонтьева и Каткова по ряду внутрироссийских церковных вопросов (с. 301), хотя, к сожалению, их не сопоставляет. Тем не менее автор с симпатией пишет о том, что Катков сочувствовал выборности приходского духовенства, признавал необходимость свободы проповеди, возражал против превращения Церкви в «полицейский институт» и т.п. При этом он «только» предлагал «немного реформировать» синодальный строй («ослабить духовную цензуру и вообще государственный присмотр за Церковью», «оживить церковную жизнь» (с. 301)). «Легко можно представить под этими словами подпись Ив. Аксакова, Гилярова-Платонова или Вл. Соловьёва», – полагает исследовательница. В целом же, по её мнению, Каткова, «равно как, впрочем, и славянофилов, вполне устраивал установившийся в России синодальный церковный строй» (с. 301). Но действительно ли именно из-за

этого для Леонтьева «Катков делался сильным противником»? Ведь те же славянофилы его противниками не были. Катков же отличался от них не меньшим вниманием к Церкви, а большим уважением к государству, будучи тем самым ближе Леонтьеву, нежели Аксаков. Об этом свидетельствует и приведённая в книге цитата из письма Константина Николаевича к И.И. Фуделю: «Катков в тяжёлые дни своеволия и расстройств накидывался на “нисших” (т.е. на обречённых самим Богом повиновению); Аксаков либерально и некстати великодушно корил всегда “высших”. Катков не брезговал чиновником; Аксаков всегда бестолково (подобно европейскому либералу) нападал *прежде* всего на чиновника. Катков не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни общества, и предпочитал (*основательно*) официальную “казённую” Россию. *Основательно*, ибо даже и вера православная не только пришла к нам *по указу* Владимира, но и *въелась* в нас благодаря тому, что народ “загнали” в Днепр» (с. 305).

В том же письме Леонтьев осуждал позицию Каткова «в вопросах *панславистическом* вообще и в *особенности* в вопросе *церковно-Болгарском*» (с. 306). Как известно, Михаил Никифорович симпатизировал болгарам, а не грекам (хотя едва ли для него этот вопрос имел большое значение). Похоже, это было единственное серьёзное расхождение между ними в «церковно-национальном вопросе». Несколько преувеличивая их разногласия, Фетисенко утверждает, что «у Каткова Церковь – основа народности и через это – основа национальной государственности», а «для Леонтьева это слишком узкое (прикладное, для нужд опять же государства) понимание Церкви». Но и она вынуждена признать, что «Каткову не предъявишь упреков в “филетизме”» (с. 302).

По словам исследовательницы, «Леонтьева возмущало главным образом то, что в концепции Каткова Церкви отводилось пусть самое почётное, но – очевидно – в стороне находящееся место», поскольку им «Церковь мыслилась как *свободная* (государство на неё не “давит”, а только “охраняет”)), но «*безвластная*, от всякого вмешательства в дела государства твёрдой рукой отодвинутая» (с. 301–302). Однако как далеко, по мнению Леонтьева, Церковь могла бы вмешиваться в дела государства и в какие именно дела? Ведь рассуждая о евангельских словах «Царство Мое не от мира сего», он уверял, что «Христос этим самым равнодушным отношением к земной политике давал этой политике полную свободу устраивать государство, дисциплинировать общество как угодно» (с. 121). И почему взгляды сторонника *свободной* Церкви *возмущали* Леонтьева? Хотел ли он видеть Церковь более или наоборот менее свободной? Во всяком случае, статьи Каткова о необходимости разрушения кастовости духовенства не вызвали у Леонтьева восторга. Он исходил из того, что «семинаристы и вообще дети белого духовенства... давно уже составляют в высшей степени буржуазный контингент нашего общества», а «с распушением касты духовной это будет ещё заметнее» (с. 114). Как бы то ни было, все эти вопросы ещё нуждаются в изучении.

Характеризуя позицию Каткова, исследовательница, кажется, подпадает под влияние суждений Филиппова⁷⁸. В письме к Леонтьеву тот утверждал

⁷⁸ В ещё большей степени это заметно в главе об отношениях Леонтьева и Победоносцева, где на один Леонтьевский отзыв о Константине Петровиче («старая “невинная” девушка») приходится с десяток его оценок Филипповым («скопец», «евнух», «змий», «Копроним») и Киреевым («трус», «плакса» и т.д.). В результате, под конец говорится уже не столько о Леонтьеве, сколько о том, что «для Филиппова и его круга... неприемлемо пригнетённое положение Церкви в роли служанки государства, обслуживающей идеологическую и нравственную сферы», а «для

даже, будто «Катков не раз повторял, что Россия и православие – одно и то же» (с. 235). Трудно сказать, что имел в виду Катков и верно ли был понят, однако едва ли в «Московских ведомостях» можно найти столь прямолинейные формулировки. Между тем Третий Иванович не скрывал, что помимо идейных разногласий имел и личные причины для неприязни к Каткову. Поневоле согласишься с Леонтьевым, уверяющим что «“враг” (истинно – так!) посеял между ними раздор» (с. 243).

Сам Леонтьев был гораздо более сдержан, к чему, видимо, принуждал себя усилием воли. Его отношение к Каткову блестяще резюмировал С.Н. Дурьлин: «1) не любит до отвращения, 2) молится за него и 3) печатно – бескорыстно и тепло хвалит за гражданские и государственные заслуги» (с. 315). Так или иначе, последняя прижизненная публикация Константина Николаевича (подборка отзывов о старце Амвросии из «Московских ведомостей» для «Гражданина») была направлена на «примирение двух давно враждующих консервативных газет»: «Ведь мы все, – обращался он к кн. В.П. Мещерскому, – и Вы, князь, и я недостойный, мы все “верующие” – православные христиане: не будем же более радовать мелкими раздорами нашими наших общих врагов, которые не дремлют... Неужели только в литературе, под предлогом службы “идеям” будет разрешено и похвально всякая злопамятность, всякая жолчь, всякий яд, всякое упорство и всякая гордость, даже из-за неважных оттенков в этих идеях?» (с. 334–335).

Анна Хорошева: Конфликт двух исторических схем

За последние 20 лет история консервативной мысли пореформенной России стала популярной среди исследователей темой – в постсоветский период появилась возможность взглянуть на неё без заданных идеологических клише. В 1990-е гг. мир русского консерватизма открывался фактически заново. Одним из вновь открытых тогда мыслителей был и Константин Николаевич Леонтьев, которому посвящена монография О.Л. Фетисенко, предпринявшей попытку «разгадать тайну личности писателя». Этому, по мнению исследовательницы, может способствовать анализ «тайной доктрины гептастилизма» и того, как Леонтьев пытался её донести до своих современников (с. 18).

Книга имеет чёткую структуру: в первой её части рассматривается учение «гептастилизма», во второй – диалог Леонтьева с его современниками (И.С. Аксаковым, Н.П. Гиляровым-Платоновым, Т.И. Филипповым, Ф.М. Достоевским, М.Н. Катковым, К.П. Победоносцевым, кн. В.П. Мещерским, А.А. Фетом, Н.Н. Дурново, С.Ф. Шараповым, Ю.Н. Говорухой-Отроком, Л.А. Тихомировым, В.В. Розановым и др.), в третьей – анализируется влияние Леонтьева на его молодых последователей и друзей (И.И. Кристи, А.А. Александрова, Г.И. Замараева, Н.А. Уманова, о. И. Фуделя, Ф.П. Чуфрина, Е.Н. Погожева, И.И. Колышко). Автор монографии анализирует систему взглядов Леонтьева, а затем прослеживает её влияние на жизнь мыслителя и его взаимоотношения с окружающими людьми.

Победоносцева же и Каткова Церковь в её земной ипостаси – часть государства». «О конкретных методах церковного управления, применяемых Победоносцевым, Филиппов и Леонтьев не высказывались, но, пожалуй, – считает исследовательница, – они могли бы присоединиться к генералу Кирееву» (с. 325).

Говоря о монографии Фетисенко, нельзя не отметить высочайшую квалификацию автора книги. Она прекрасно ориентируется не только в окончательных вариантах произведений Леонтьева, но и в том, как их текст менялся с течением времени. Она не раз указывает читателю на редакторскую правку, внесённую мыслителем в разные периоды его жизни. Невозможно переоценить труд и терпение исследовательницы, кропотливо выявлявшей различные временные слои в работах философа. Безусловной заслугой автора является также публикация ранее неизвестных черновых набросков Леонтьева. Эти автографы обнаружил в РГАДА (ф. 1282) Г.Б. Кремнев и предложил Фетисенко их опубликовать, что она и сделала, подготовив все необходимые комментарии (с. 114–140). Именно в этих «новообретённых» материалах автор монографии и усматривает итог идейных исканий мыслителя – его теорию «гептастилизма» (с. 17–18). По сути Фетисенко предлагает новый термин для обозначения системы взглядов Леонтьева, тогда как сам он писал про «Эптастилизм, или Учение о семи столпах Новой Восточной Культуры» (с. 123).

Так что же такое «гептастилизм» или «эптастилизм»? Автор, ссылаясь на фрагмент статьи Леонтьева «Письма о Восточных делах», выявляет ровно семь элементов теории: идеи религиозные, политические, юридические, философские, бытовые, художественные, экономические (с. 84). При этом исследовательница стремится «раскрыть леонтьевское понимание семи “отвлечённых идей” его же словами» (с. 85), которые подробно цитируются на нескольких страницах (с. 85–89). Критический анализ их практически отсутствует, а вместо авторской оценки цитат приводится мнение о. И. Фуделя (с. 89–90). Тем самым исследовательница не систематизирует и не обобщает огромный фактический материал, приведённый в работе, что не даёт возможности получить объективное представление об историософии мыслителя. Читатель вынужден сам разбираться в хитросплетениях идей философа. В конце первой части говорится о том, что к концу жизни Леонтьев высоко ставил жанр «жития» и предлагал своему единомышленнику Александрову посвятить свою магистерскую диссертацию его изучению, но тот данным ему советом не воспользовался (с. 113). Остаётся загадкой, почему именно этим заканчивается, а точнее, обрывается важнейшая часть монографии.

В аннотации к книге указывается, что учение К.Н. Леонтьева перекликается с теорией культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского и развивает её положения (с. 4). Данилевский был создателем принципиально новой методологии истории, противопоставлявшей представлению о линейности всемирно-исторического процесса идею множественности путей развития человечества. Как отмечает Фетисенко, Леонтьев придавал огромное значение книге Данилевского «Россия и Европа» (с. 61–62), рекомендовал её для чтения своим единомышленникам (с. 270). Однако сама исследовательница, освещая позицию мыслителя, ограничивается лишь приведением цитат и небольшими ремарками. Так, говоря о роли Царьграда в Славянском союзе, она напоминает, что эту идею, помимо Данилевского, высказывали М.П. Погодин и Р.А. Фадеев, но Леонтьев вышел за рамки их понимания проблемы (с. 72). Это подтверждают обширные цитаты, но, к сожалению, без авторского комментария (с. 73–74), сопоставления данных проектов и выявления в них общего и особенного. В конечном итоге это не позволяет определить место Леонтьева в истории консервативной мысли и показать, в чём состояло своеобразие идей Леонтьева по сравнению с представлениями других охранителей, например, Каткова или

Фадеева. Более обстоятельного объяснения требует и характеристика консерватизма как антирациональной, несистемообразующей идеологии и политической практики (с. 6).

Поскольку в начале своего исследования Фетисенко подчёркивает, что вновь обретенные тексты позволяют глубже взглянуть на личность Леонтьева, естественно предположить, что в книге будет приведено сопоставление теорий «византинизма» и «гептастилизма». Фетисенко приводит большое количество высказываний Леонтьева о царизме, о социальном неравенстве, которое необходимо закрепить посредством «особенного социализма», о «византинизме» (с. 71–76, 79–80), но не оговаривает, когда и как появились подобные идеи, в какой степени они отражали современную Леонтьеву действительность и была ли разница между его рассуждениями 1870-х и 1880-х гг., т.е. как менялись его представления на протяжении жизни и с чем это было связано. Ведь для большинства исследователей Леонтьев является создателем теории «византинизма», неотъемлемой частью которой было понятие «царизма», выступающее в роли объединительного начала и сохраняющее необходимое для государства разнообразие. Автору следовало бы показать, когда и в силу каких причин сформировалось учение «гептастилизма», чем оно отличалось от «византинизма» в историософском плане, включало ли оно его в себя полностью или частично, или же между ними не было ничего общего.

Великолепно зная сочинения Леонтьева, Фетисенко попыталась реконструировать систему его взглядов с помощью цитирования, не углубляясь в исторический контекст их создания и связь с биографией мыслителя. Однако без этого невозможно понять эволюцию его взглядов. В частности, явно недостаточно сказано о роли матери Леонтьева Феодосии Петровны (в девичестве Карабановой), занимавшейся его первоначальным образованием и привившей сыну вкус к эстетическому восприятию окружающего мира. Именно ей он обязан тем, что для него на протяжении всей жизни «принцип разнообразия и эстетизма» будет основополагающим (а это оттолкнёт его от либерализма и приведёт к консерватизму). Однако в монографии сообщается лишь о том, что она была «изыскано-изящной» (с. 13). Конечно, на страницах книги упоминаются отдельные факты его жизни. Например, говорится о важности обета, данного им на даче в Салониках, но не поясняется, в чём он состоял и каково было его значение для дальнейшей судьбы и творчества Леонтьева (с. 14). Безусловно, знакомые с биографией Леонтьева хотя бы в самых общих чертах догадаются, что речь идёт об уникальном духовном опыте чудесного исцеления от смертельной болезни. Однако пропедевтическое проговаривание известных фактов было бы здесь вполне уместно. Не хватает также исторической справки о том, в чём заключался греко-болгарский «вопрос» (с. 65–66), почему он так волновал философа, вставшего в итоге на сторону константинопольского патриарха, и каково было отношение к нему русского общества. Ничего не пишет автор монографии о Восточном вопросе, занимавшем в творчестве Леонтьева столь видное место. Историю его публицистической деятельности (с. 53–59) Фетисенко описывает исключительно на уровне личных связей, без разъяснения закономерностей развития пореформенной России.

Во второй части монографии исследовательница буквально по крупичкам собрала огромный фактический материал, в мельчайших подробностях воспроизводя историю контактов Леонтьева с современниками, до которых он пытался донести своё учение. В книге скрупулёзно описано, где и при каких

обстоятельствах они встречались, что послужило поводом для знакомства, как складывались их взаимоотношения и на что именно они обращали внимание в частных беседах и литературных спорах. Не совсем понятным, правда, остаётся отбор фигур, обративших на себя особое внимание автора. В частности, почему нет отдельной главы о покровительстве и влиянии на Леонтьева И.С. Тургенева (с. 21), имя которого часто упоминается на страницах монографии? При этом и здесь не всегда учитывается общеисторический контекст. Так, в книге говорится о том, как К.Н. Леонтьев, будучи цензором, из-за накопившихся обид запретил издание брошюры И.С. Аксакова «Взгляд назад» (с. 177–178). Но помимо личных чувств, ему следовало руководствоваться «Цензорским уставом», в соответствии с которым нельзя было разрешать публикацию брошюры, провозглашавшей «мысли, равносильные совершенному почти уничтожению администрации», предположения «о расширении прав и компетентности земства до крайних пределов» и намечавшей «проект глубокого “изменения” нашего государственного строя» (с. 177).

Неподдельный интерес вызывают подробности, сообщаемые Фетисенко о «нескончаемом споре» Леонтьева с Достоевским (с. 251–264). Они позволяют почувствовать особенности общения этих людей. Мы узнаём, в какую одежду они одевались, в каких местах виделись, какие условности существовали в их отношениях, каков был их денежный достаток, что они могли себе позволить, а что нет.

Центральным событием их спора Фетисенко считает «пушкинскую речь» Достоевского, разделившую двух незаурядных людей навсегда (с. 259). Исследовательница пишет, что более всего для Леонтьева оказалась неприемлема «всечеловеческая любовь», проповедовавшаяся писателем. Суть спора Фетисенко видит именно в религиозных разногласиях. Ей удалось найти фрагменты черновика знаменитой статьи Леонтьева «О всемирной любви», в котором учение Достоевского названо «чуть-чуть не еретическим» (в окончательной редакции употреблено выражение «общегуманитарное»), а сам он обвиняется в «прелести» (с. 260). «Это... давно осуждено Церковью, – писал Константин Николаевич позднее, – как своего рода *ересь* (*хилиазм*, т.е. 100-летнее царство Христа на земле, *перед концом света*)» (с. 261).

Но был ли спор мыслителей чисто церковным? В своей речи, произнесённой на пушкинском празднике в начале июня 1880 г., Достоевский фактически развивал мысль о всечеловеческой миссии России и её народа. Эта миссия, по мнению писателя, заключалась в том, что Россия должна внести примирение в европейские противоречия, вывести Европу из тупиков социального и нравственного разложения путём привнесения в европейскую культуру братской любви и гармонии, которые смог сохранить русский народ. Тем самым Достоевский по-своему переработал гегелевскую модель развития человечества, согласно которой на каждом этапе истории появляется народ, ведущий все остальные народы к прогрессу. Гегель отводил эту миссию германцам, а Достоевский – русским.

Леонтьев воспринимал ход исторического процесса совершенно иначе. Умирание любой культуры он считал неизбежным, и все попытки спасти Запад от гибели были, по его имению, обречены, поскольку Европа уже вступила на путь вторичного упрощения. Вмешаться в этот процесс – значит погибнуть раньше времени во имя ложной цели. Речь Достоевского, принятая с таким восторгом русским обществом, как раз и раздражала Леонтьева тем, что она

могла увлечь Россию на опасный путь и привести к преждевременной гибели. Ему казалось, что Россия должна заботиться прежде всего о себе, а царизм, сохраняя разнообразие сословных форм, позволит ей «цвести» дольше. Таким образом, Достоевский и Леонтьев спорили не о церковных догматах, а о выборе пути дальнейшего развития России и о её будущем. Это был конфликт двух историософских схем.

Монография О.Л. Фетисенко – важное событие в истории изучения творчества К.Н. Леонтьева. Безусловной заслугой автора является выявление и изложение колоссального массива прежде неопубликованных источников, позволяющих уточнить многие факты из жизни как самого Константина Николаевича, так и близких к нему лиц. Вместе с тем желание избежать обобщений и скупость выводов не позволили автору выйти на новый уровень интерпретации наследия Леонтьева и его места среди русских консерваторов. В результате по прочтении книги перед читателем не возникает ни цельного образа мыслителя, ни достаточно полной системы его взглядов.

Станислав Хатунцев: «Кносский дворец» гептастилизма

Монография О.Л. Фетисенко – крупнейшее в последние годы фундаментальное и новаторское исследование творчества К.Н. Леонтьева и его отношений со своими учениками, фигуры которых впервые в историографии тщательно освещены на основании широкого круга источников. Практически на каждой странице книги виден кропотливый труд учёного-филолога. «Многоэтажные» подвалы примечаний, которые сами по себе могли бы составить целый том, несколько разрыхляют работу, но они же выводят её в безбрежные горизонты русской культуры, общественно-политической мысли и в целом жизни России 1850–1930-х гг.

Исследовательница скрупулёзно воссоздаёт историю написания многих текстов Леонтьева, в том числе – «Византизма и славянства», выявляет круг его чтения и те источники, из которых он мог черпать сведения, импульсы и идеи, развитые им впоследствии. Благодаря колоссальной текстологической работе Фетисенко удалось выяснить, в частности, что реплики из «Варшавского дневника», цитируемые как высказывания 1880 г., зачастую являются позднейшими вставками, сделанными уже в 1885 г., а это два совершенно разных периода, между которыми пролегло 1 марта 1881 г. (с. 36).

О.Л. Фетисенко вносит немало нового в изучение биографии Леонтьева. Так, отбрасывая предположения и догадки и опираясь на автобиографические тексты мыслителя, она чётко заявляет, что настоящим его отцом был не заурядный помещик Н.Б. Леонтьев, а блистательный аристократ В.Д. Дурново, пишет о «запретной любви» Константина Николаевича и его «полуплемянницы» Марии Владимировны (с. 13–14, 200). Начало перелома в воззрениях Леонтьева и его ухода от юношеского либерализма Фетисенко обоснованно относит даже не к весне 1861 г., а к 1860 г. (с. 54), окончательно же «прогрессивно-охранительное направление» сложилось у Леонтьева, по её словам, к 1880–1881 гг. (своеобразным манифестом этого стала предназначенная для правительственных кругов «Записка о необходимости новой большой газеты в Санкт-Петербурге») (с. 76). Много интересных биографических данных содержится также в последней главе монографии «...И в пределах преподобного Сергия».

В работе внимательно анализируются понятия и образы, которыми пользовался Леонтьев. Так, часто употреблявшееся им выражение «пророчество», как справедливо замечает Фетисенко, в прямом смысле этого слова означало не «одобрение» тех или иных событий и тенденций, а лишь сообщение о них. Это необходимо не просто учитывать, но и крепко запомнить, особенно тем, кто видит в Леонтьеве едва ли не предтечу сталинизма (с. 28).

Фетисенко высказывает много глубоких, правильных мыслей и тонких замечаний. Например, о том, что Леонтьев скорее не публицист, а политический писатель, мысливший проективно, но вместе с тем не являвшийся утопистом, поскольку никогда не верил в «рай на земле» (с. 30–31). Не менее существенно и её наблюдение, согласно которому нехристианскому почитанию монарха в кругах охранителей «отвечало обожествление “народа” демократическими кругами и почвенниками» (с. 215). Также исследовательница отмечает, что «оптинский отшельник» задолго предвосхитил Г. Гессе с его «эпохой фельетонов», осмеянной в «Игре в бисер» (с. 678).

Раскрывая леонтьевский «гептастилизм» – учение о семи столпах «ново-го созидания» – автор монографии использует не только хорошо известное письмо Константина Николаевича о. И. Фуделю от 6–23 июля 1888 г., но и его новооткрытые наброски и записки. В одной из них, адресованной Я.А. Денисову, были очерчены все семь «столпов», чего ранее не встречалось ни в одном из известных историкам документов. Однако никакого «стройного учения» «гептастилизма», изложенного в чёткой и законченной форме, на страницах книги нет, если, конечно, не называть этим именем сами воззрения Леонтьева, как мы называем «нищиеанством» взгляды Ф. Ницше. Наверное, это было бы правильно. Но в таком случае «гептастилизм» (или «анатолизм») не следует насильственно расписывать непременно по тем или иным семи пунктам.

В сущности «гептастилизм», которому посвящены от силы 20–30 страниц монографии, как был, так и остался смелой заявкой на создание доктрины, предназначенной для сотворения новой, небывало пышной четырёхосновной культуры (идеал Н.Я. Данилевского). Но дальше этого дело не пошло, да и пойти не могло, поскольку завершённый семиглавый комплекс «эптастилизма» стал бы отрицанием глубинных основ всей леонтьевской мысли как таковой. «Учение» о том, как уже стареющему культурно-политическому организму (России) взять да и шагнуть в «акме» на целый жизненный срок (по Леонтьеву – 1 000–1 200 лет), разрушило бы саму «гипотезу триединого процесса». И «гептастилизм» Фетисенко (с. 85–89) – не какая-то открытая ею «тайная доктрина» мыслителя, лежавшая до поры под спудом, а лишь реконструкция его культурно-исторической мечты. Реконструировать её исследователи жизни и творчества Леонтьева пытались с разной степенью успеха и адекватности, начиная со сборника 1911 г., и книга Фетисенко находится в том же ряду, не сильно из него выбиваясь и не являясь неким гносеологическим прорывом. Тем не менее в ней сделано хорошее и объективное обобщение, основанное на великольном знании и детальной проработке творческого наследия Леонтьева.

Трудясь над его текстами так, как старатель работает с золотиносным песком, исследовательница обнаружила в них «очевидную» тенденцию к смягчению отзывов об И.С. Аксакове. Учитывая, что в пореформенный период Иван Сергеевич в целом эволюционировал «вправо», это закономерно. В чём-то, как отмечал историк С.М. Сергеев, Аксаков сближался со своим постоянным оппонентом Леонтьевым даже до совпадения позиций. Общую черту, несмотря на

весьма разные политические воззрения, Фетисенко находит у К.Н. Леонтьева и с Н.П. Гиляровым-Платоновым. Это их потребность видеть «дальний план», устремлённость не в «завтра», а в «послезавтра» (с. 197).

Анализируя «нескончаемый спор» Леонтьева с Достоевским, автор задаётся весьма нетривиальным вопросом: почему Константин Николаевич был столь ревностно-пристрастен, нет ли тут чего-нибудь личного? Любопытно также, что гр. Л.Н. Толстой называл Леонтьева скандальным «разбивателем стёкол», будучи своего рода «стекольщиком», отливавшим и устанавливавшим стёкла, через которые русская публика смотрела на мир – да и на войну тоже.

Особой новизной отличаются главы о контактах мыслителя с публицистами Н.Н. Дурново, С.Ф. Шараповым и писателем И.Л. Леонтьевым (Щегловым), сохранившим в своём дневнике уникальные сведения о знакомстве Константина Николаевича с сочинениями Ницше (с. 686). Это одна из ценнейших находок автора монографии. Фетисенко внимательно выявляет круг учеников Леонтьева и той молодёжи, которая с ним так или иначе общалась. К ней принадлежали, кстати, и два будущих обер-прокурора Святейшего Синода – кн. А.Д. Оболенский и А.Н. Волжин.

Два главных «прямых наследника» Леонтьева с их семействами – «православный немец» о. И. Фудель с супругой и несколько неряшливый А.А. Александров с его невыносимой «Тарасовной» в книге как бы противопоставляются друг другу. В текстах Александрова Фетисенко, за редкими исключениями, находит больше официальной риторики, чем «живой души» (с. 560). Подробно освещая его деятельность в журнале «Русское обозрение», исследовательница характеризует и само это издание, остающееся, к сожалению, практически неизученным. Ценные сведения приведены и об о. И. Фуделе, которого Константин Николаевич любил как сына. По мнению Фетисенко, о. Иосиф разделял идеи Леонтьева в гораздо большей степени, нежели этого хотелось бы его собственному сыну Сергею Иосифовичу, «убеждённому антилеонтьевцу» (с. 645).

Из книги хорошо видно, что продолжить дело великого русского консерватора его ученики не могли. Да и разработанной программы он им не оставил: имелись только наброски, наброски, фантазии, «общие планы»... Заключение фактически является особой главой, в основном посвящённой судьбам творческого наследия Леонтьева со времени его кончины до 1917 г.

Нельзя объять необъятное. Обо всех леонтьевских собеседниках в одной монографии не напишешь. Однако в ней всё же явно не хватает отдельного очерка о М.В. Леонтьевой, принадлежавшей к числу ближайших к Константину Николаевичу людей и сыгравшей в его судьбе и сохранении памяти о нём огромную роль.

Есть в книге небольшие редакторские недочёты. Так, на с. 167 Фетисенко дублирует цитату из «Моей литературной судьбы» Леонтьева, на с. 526 повторяет отрывок, приведённый на с. 524, на с. 667 – фразу о войне 1877–1878 гг. Цитаты из источников, публиковавшихся ранее, можно было бы значительно сократить. Обилие пространных выдержек из документов местами делает монографию похожей на хрестоматию. Но несмотря на это складывающееся порой впечатление, перед нами – классический исследовательский текст, вышедший из-под пера незаурядного филолога и представляющий собой серию очерков, раскрывающих единую многоплановую сюжетную линию. Общей панорамы взаимоотношений Леонтьева с окружающим миром она не даёт: в рамках одной книги это попросту невозможно. По той же причине не претендует

она и на исчерпывающее освещение леонтьевской темы. Её страницы полны прекрасными замечаниями и обобщениями, и в целом картина выходит очень разносторонней, хотя порой это оборачивается дробностью и рыхловатостью. В конечном итоге получается большое, многофункциональное здание со множеством причудливо разбросанных помещений, похожее на Кносский дворец. В нём уже вполне можно жить и работать, несмотря на участки, отделка которых всё ещё продолжается. Но книга Ольги Леонидовны – не столько музей или «пешеходная экскурсия по леонтьевским местам», сколько живая, творческая лаборатория, в которой решаются «горячие» проблемы и ставятся новые.

После труда о «гептастилистах» хочется сердечно поблагодарить О.Л. Фетисенко и пожелать ей скорейшего завершения издания Полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева с их подробнейшим научно-справочным аппаратом. Читатели ждут!

Сергей Чесноков, Александр Чернавский: Русские истоки исторической антропологии

В российской гуманитарной науке явно недостаточно исследований, затрагивающих проблематику русской идентичности. Эту лакуну существенно восполняет исследование О.Л. Фетисенко. Обращение филолога к истории русского консерватизма полезно хотя бы уже потому, что может способствовать уточнению представлений о литературных аспектах этого идейного течения, а богатый материал позволяет создать эффект погружения в исторические реалии второй половины XIX в. Кроме того, монография Фетисенко свидетельствует о наличии в сочинениях К.Н. Леонтьева целостного подхода к антропологически ориентированной истории. Рассказывая о его знакомстве с кн. В.Ф. Одоевским, Фетисенко не случайно использует термин «аналитическая этнография». А «гептастализм» – футурологическую утопию «славяно-восточной» цивилизации – наверное, можно назвать своего рода истоком русской исторической антропологии.

Как показывает автор, Леонтьев с молодых лет был склонен мыслить «проективно». Первый его проект, относящийся к концу 1850-х гг. и скромно подписанный «лекарь Леонтьев», остался погребённым среди бумаг Министерства народного просвещения и впервые был опубликован только в 2006 г. В нём подробно обосновывался план устройства «учебницы естествознания в Крыму» (с. 22). В этой записке Леонтьев, апеллируя к последним открытиям современной ему науки, характеризовал Крым как страну по преимуществу «антропологическую». Внимательный читатель К. Бэра, он напоминал, что ни в одном университете нет кафедры антропологии, тогда как именно этой науке, понимаемой широко, принадлежит будущее, именно она осуществит предсказанное Т.Н. Грановским слияние гуманитарных и естественных наук. В антропологию Леонтьев включал и анатомию, и физиологию, и этнографию, и «рациональную психологию»: «Антропология должна стать на рубеже наук духовных и естественных, не ей ли быть звеном всех факультетов? Если на факультете естествознания ей следует дать одно из первых мест как науке, одухотворяющей посредством эстетического символа фатализм праха, то разве излишня она врачу, юристу и филологу? Время не ждёт, антропологии надо спешить» (с. 23).

Ещё более значимы скрупулёзно подобранные и систематизированные наблюдения и размышления Леонтьева с дунайских перекрёстков Европы XIX в. Россия рассматривалась им тогда как бы со стороны, глазами дунайских народов. Как пишет исследовательница, во второй половине 1860-х гг. Леонтьев стремился прежде всего «постичь во всей широте историческое призвание России». Географическая удалённость от объекта познания лишь помогала ему в этом. «Вдали от отчизны, – признавался он, – я лучше вижу её и выше ценю» (с. 57). По словам автора монографии, находясь на Востоке, в «живом этнографическом музее», Леонтьев изучал «все хорошие и дурные плоды, не исключая даже манеры принимать и угощать гостей» (с. 59). Писатель стал по-новому воспринимать свою родину, слыша от греков и славян о том, что в России сохранилось церковное благочестие («там монастыри многолюдны»), и будто бы сам «этот неизмеримый край» «Бог сохранил для нашего спасения» (с. 59). Залогом высокого положения России в мире в тот период своей жизни Леонтьев считал своеобразие, пышность и сложность её составных частей. Он верил в то, что, выработав своеобразную славяно-русскую культуру, Россия со временем может обновить стареющий мир. В журнальном варианте его статьи «Грамотность и народность» говорилось от лица чехов: «Русские обязаны не только для себя, но и для всех нас сохранить свою физиономию и даже стараться создать новое русское или славянское из данных им свыше начал». С Европой же, полагал Леонтьев, нужно жить в мире, но одновременно – в культурном отчуждении (с. 59).

Представляет интерес и история обретения Леонтьевым личной духовной и гражданской зрелости. «Я уже с 1862 года (30 лет), – вспоминал он, – отступился с ужасом от либерализма, которому поклонялся 18 лет под влиянием Ж. Занда, Белинского, Тургенева и т.д. Поклонялся его сердечным и благородным сторонам, не понимая ещё (до 28–29 лет) ни глубокой антигосударственности его, ни прозаических последствий того смешения, без которого либерализм не может быть практикуем» (с. 54). Антропологические взгляды Леонтьева на проблему «своеобразия» окончательно сложились к концу 1860-х гг., когда он пополнил свои представления о византийской культуре Афона и быте христианского и мусульманского Востока. Считая задачей своей жизни проповедь новой восточной культуры, своеобразной и антитетичной по отношению к современной ему западной цивилизации, своими прямыми предшественниками он признавал старших славянофилов и Н.Я. Данилевского. При этом Леонтьев пристально присматривался ко всему внешнему, начиная с облика человека, поскольку хорошо понимал, «что в самых внешних формах быта выражается дух народа и времени, что привычки, вкусы, моды – всё это вовсе не внешность одна, а неизбежное выражение глубочайших внутренних потребностей» (с. 80).

Анализируя две крупные работы Леонтьева «Византизм и славянство» и «Русские, греки и юго-славяне», Фетисенко отмечает знаменательное для судьбы мыслителя временное совпадение обретения им глубокой личной веры и трагической кульминации греко-болгарской церковной распри. «Убедившись в том, что цели болгар вовсе не церковные, – пишет она, – дипломат и публицист начал колебаться в своей слепой и пламенной вере в Славянство, а заодно стал сильно разочаровываться и в наших внутренних русских либеральных преуспеваниях» (с. 66). В монографии показано, как греко-болгарский конфликт подтолкнул Леонтьева к выбору между национальным (племенным), государственным и церковным началами. Приоритетным для него стало единство Церкви,

основанное на верности её канонам. «Истинно национальная политика должна поддерживать не голое племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой, – считал он. – Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти» (с. 66). Следует согласиться с автором книги в том, что только целостное представление об обстоятельствах личного выбора мыслителя позволяет понять охраняемые им ценности.

В монографии подробно изложена история создания, пожалуй, главной книги Леонтьева – «Византизм и славянство». Сначала он записал уже сложившуюся в его сознании теорию прогресса (развития), потом появились разделы о византизме, славянстве, публицистические болгарские главы. Статья «Русские, греки и юго-славяне» также представляла собой синтез политической аналитики и теоретических размышлений. В ней Леонтьев пытался раскрыть «вековую устойчивость бытового типа, общего духа» разных народов и выразить их этнопсихологические особенности. «Пределы политических колебаний, возможные для одной и той же нации, – утверждал он, – и обуславливаются внутренним строем этой нации, её вероисповеданием, её преданиями и даже вкусами, её социальным устройством, которое кладёт свою глубокую печать на личный тип или психический строй самих граждан» (с. 69). Однако ему было явно недостаточно только этнографических очерков и политического анализа. В своих статьях, начиная с «Грамотности и народности», он искал новый синтетический жанр. Так оформлялась леонтьевская программа «нового созидания» – синтеза религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических идей, его «гептастилизм».

Терминологический и образный ряд широко заимствовался Леонтьевым из естественных наук, математики, медицины. Предвосхищая появление и пути развития целого ряда современных гуманитарных дисциплин и направлений междисциплинарных исследований, он указывал на то, что «психология, столь незрелая ещё социология, эстетика приблизятся к точным наукам, и это произойдёт так же естественно, как естественно совершается приложение идей реальных наук к исторической, психической жизни людей и общества». При этом он считал, что именно русские дадут «сознательную постановку будущей социологии», и предвидел появление науки «социальная психология» (с. 26). Его занимала историческая и национальная психология, психология восприятия и творчества, загадки человеческой памяти. Он часто упоминал «психическую жизнь общества», «психологические законы творчества», «психический строй представителей определённой нации», «психический тип», «психический характер», «вековую устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно», «психический характер нации», «психологические ресурсы нации», «психические запасы общества», «исторически приобретённые душевные навыки» и т.д. (с. 49). Весьма характерно и его понимание специфики монархического строя России. «Самодержавие, – отмечал Леонтьев – по-нашему, есть не самая лучшая только форма правления, прямое воплощение строя нашей души в государственной и политической жизни» (с. 9). Вместе с тем он отталкивался и от духовной-историософской традиции, нашедшей воплощение в трудах деятелей Русской Церкви от старца Филофея до святителя Филарета (Дроздова), много писавшего об уникальности русского церковно-государственного и общественного устройства. Исследование «гептастилизма», этого специфического и глубоко личного учения К.Н. Леонтьева, позволяет лучше понять русский консерватизм, по-новому оценить его природу и творческий потенциал.

Как недавно напомнил В.К. Кантор, «Леонтьев был человек, писавший беспрерывно, заносивший все свои переживания и события личной жизни на бумагу, превращая их то в романы и рассказы, то в исповеди и мемуары, то в философскую публицистику»⁸⁰. Действительно, помимо дошедшего до нас обширного творческого наследия Леонтьева, существовал ещё и цикл его романов, сожжённых автором после обращения. Писать и говорить было для него необходимостью, причём писал он легко и свободно, как дышал, затем с огромным упорством работал над текстом (стилистический пуризм воспринят им то ли из традиции словесности XVIII – первой трети XIX в., то ли от современной ему французской литературы). И по странной иронии судьбы автор, обладавший всеми качествами для успеха, его так и не дождался – не только громкого и шумного успеха, к которому он стремился в молодости, но и хотя бы относительного, желаемого в старости, признания и внимательного отношения к своим идеям. Розанов, феноменально быстро и плотно сошедшийся с Леонтьевым через переписку – так, как умели только они, сразу убравшие барьер условностей, эпистолярного отчуждения и «перелезавшие» через текст к собеседнику, начиная говорить о существенном – писал в 1903 г., издавая письма Леонтьева к себе со своими примечаниями: «Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые *нечаянности*. Природа (творческие её силы) любит как бы удивить человека, видеть его удивлённое лицо. Поэтому чего мы особенно сильно *ожидаем* или *желаем*, очень часто, до странности часто, *не исполняется*. Л[еонтьев], во-первых, имел право на огромное влияние и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, *ждал* его, а потом с каждым годом всё мучительнее желал – и тоже ждал. Может быть, в истории литературы это было единственное *по напряжённости ожидание успеха*, и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку»⁸¹.

После публикации переписки К.Н. Леонтьева с Т.И. Филипповым⁸² это розановское замечание выглядит ещё более точным. Леонтьев напряжённо вглядывался в любой намёк на то, что его слово услышано, отслеживал все свои публикации, строил планы издания ежедневной газеты под своим идейным руководством. С середины 1870-х гг. в письмах он нередко не столько обращался к конкретному корреспонденту, сколько искал возможности «выговориться»: заводил разговор в надежде на то, что собеседник появится (как это было и в первых письмах Розанову, и в огромном письме к И. Фуделю, на тот момент почти совершенно неизвестному ему московскому студенту⁸³). Практически лишённый публицистической трибуны, Леонтьев использовал все возможности для распространения своих взглядов в личном, непосредственном общении через переписку и т.д. Он сознавал себя учителем, проблема же была в том, что

⁷⁹ Исследование выполнено в рамках гранта президента РФ № МК-2579.2013.6 («Социальная и политическая философия поздних славянофилов: между либерализмом и консерватизмом»).

⁸⁰ Кантор В.К. К. Леонтьев: Христианство без надежды, или Трагическое чувство бытия // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 343.

⁸¹ Розанов В.В. Собрание сочинений. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. С. 332, примеч. 1.

⁸² Пророки Византизма...

⁸³ «Преемство от отцов»... С. 75–96.

учеников сначала не было, а когда они появились, то лишь в малой степени удовлетворяли его ожиданиям.

Не главное, но важное достоинство работы О.Л. Фетисенко – вывод Леонтьева из пространства «идеологических споров», где под «идеологией» понимается некий простой, не особенно важно откуда именно заимствованный инструментарий, который считается непосредственно применимым здесь и сейчас. На эту роль регулярно примеряют «идеи» славянофилов, консерваторов победоносцевского, фадеевского или филипповского типов, крайне правых эпохи Думской монархии, публицистов эмиграции (вроде И.А. Ильина) и т.п. С начала 1990-х гг. одной из таких фигур становится и К.Н. Леонтьев, из сочинений которого в расхожем обиходе мелькает пара-тройка не столько даже идей, сколько лозунгов, начиная с хрестоматийного пожелания «подморозить Россию», «византизма» как слова-образа для обозначения идеала, да указания на то, что надо учиться «делать реакцию». В «Гептастилистах» же Леонтьев изымается из «актуального» контекста и возвращается в свою историческую среду, реконструкция которой – через последовательное прослеживание связей Леонтьева с современниками и учениками – оказывается чрезвычайно «плотной», от бытовых до предельно абстрактных, теоретических расхождений и сближений. Именно через данное «возвращение» Леонтьева в современную ему эпоху возможно действительное раскрытие значения его философских, религиозных, политических и литературных взглядов. В противном случае его мысль оказывается «на холостом ходу» универсальной применимости, чему способствует её кажущаяся простота. Как отмечал Розанов, «идеи Леонтьева и сложны, и просты»⁸⁴, но, разумеется, в первую очередь схватывается второе, тогда как от сложности леонтьевских рассуждений тем проще отказаться, что её можно и не заметить.

В.С. Соловьёв (для понимания истории его отношений с Леонтьевым книга О.Л. Фетисенко также даёт новый ценный материал) в некрологе предсказывал, что Константин Николаевич известен «не будет и после смерти»⁸⁵. Подобный отзыв вызвал естественное недовольство у друзей покойного, однако последующие годы подтвердили верность соловьёвской оценки. Фундаментальное исследование О.Л. Фетисенко детально показывает, как и почему так получилось. В сегодняшней перспективе Леонтьев предстает как одна из ключевых интеллектуальных фигур русского XIX в., но для своих современников он оставался почти незаметен. Властители дум в 1870–1880-х гг. – с одной стороны, Н.К. Михайловский, с другой – М.Н. Катков, И.С. Аксаков, между ними – либералы М.М. Стасюлевич, К.К. Арсеньев и, как вершина, И.С. Тургенев. Леонтьев же не вписывался со своими представлениями о Церкви ни в «катковский» круг (с его пониманием православия как государственного института), ни в «аксаковский» (с идеями приходской жизни с выборными священниками и «свободной» Церкви, не подчиняющейся уже государству, но зато едва ли не целиком включённой в общественную жизнь, рассматриваемой как форма (само)организации общества). В итоге, для Аксакова он – «клерикал», для Каткова – человек крайностей (по большому счёту, вряд ли вообще вполне понятный), к тому же ставящий интересы Церкви выше интересов России, утверждающий, что «национальные движения» есть «орудие всемирного разрушения». Но находя единомышленников – немногих и оттого столь ценимых – в своих взглядах

⁸⁴ Розанов В.В. Указ. соч. С. 322.

⁸⁵ Цит. по: К.Н. Леонтьев: Pro et contra. Кн. 1. СПб., 1994. С. 20.

на Церковь, Леонтьев не сходиллся с ними в других вопросах. И если среди «консерваторов» для него нет своего места, то для публицистов других направлений он не более, чем «куръёр», персонаж, у которого можно взять две-три фразы и использовать их в текущей полемике: он слишком необычен, с одной стороны, для него нет «готовой мерки», а с другой – влияние его недостаточно для того, чтобы всерьёз с ним считаться и задумываться, пытаюсь найти мерку индивидуальную.

И в наше время каждому нужна лишь какая-то сравнительно небольшая часть «идей» Леонтьева, тогда как, по большому счёту, «идей» у него, как и у любого настоящего мыслителя, нет. Его «учение» – это не набор тех или иных программ, рецептов, подходов, которые можно отделить один от другого и использовать «по мере надобности». Следует согласиться с А.Э. Котовым в том, что введённое О.Л. Фетисенко понятие «гептастилизм» («семистолпное» основание леонтьевской историософии) выводит за пределы подобного «идеологического комплекса», побуждает уйти от ненавистного Леонтьеву подчёркивания «парадоксальности» тех или иных его суждений⁸⁶ и заставляет внимательнее всматриваться в само целое, «семистолпное» здание. Ведь у подлинного философа нет противоречий, а есть тезисы, которые вне целого или помещённые в иную систему начинают звучать, как взаимно несовместимые, хотя для их создателя это лишь разные выражения изначального понимания. И уход от упрощения и сиюминутной «актуализации» леонтьевской мысли под какие-либо идеологические программы – важнейшее, что можно сделать, дабы избежать её «вторичного забвения». Если первое было следствием молчания, то второе может стать результатом забалтывания.

Материал подготовлен А.В. Мамоновым

⁸⁶ «Мне очень грустно, – писал К.Н. Леонтьев о. И. Фуделю 16 мая 1890 г., – когда я вспоминаю, что *даже и Вы* (с Вашей независимостью) почему-то нашли нужным назвать “парадоксами” мои мнения... – Что такое *парадокс*? Это значит: мысль *странная, новая, удивительная и больше ничего*. Но у нас, в робкой литературе нашей, это название “парадокс” есть почти поприщание; все привыкли соединять с ним представление о чём-то непрактическом, причудливом, ненужном и даже почти безумном... Всякая *великая* мысль сначала кажется толпе парадоксом. *Но Вы не толпа*» (Преемство от отцов... С. 208). 27 января 1891 г. по поводу реакции печати на свои статьи он горько иронизировал в письме к Филиппову: «Оригинально, оригинально, оригинально, парадоксы, парадоксы. Или ни слова» (Пророки Византизма... С. 613).